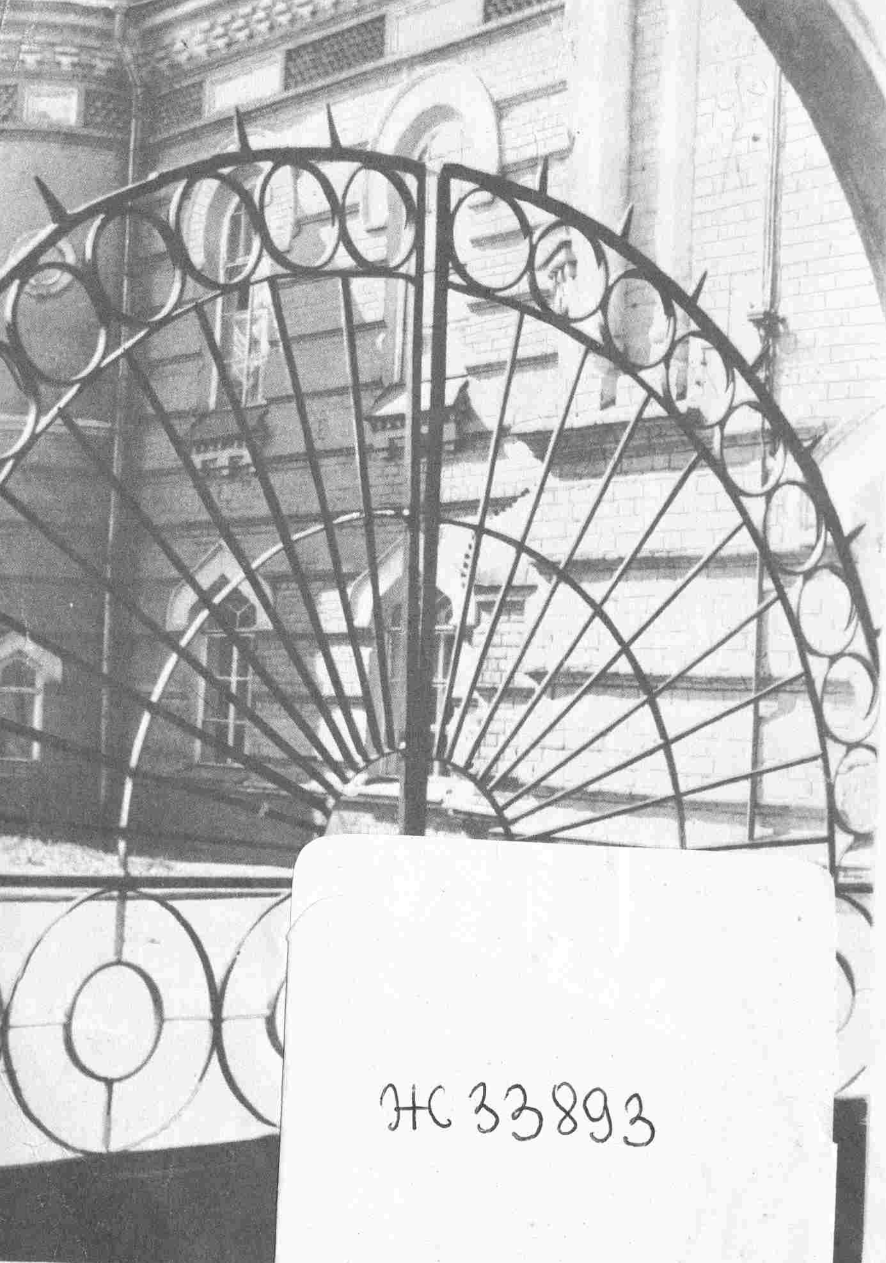
АНГАРА



1969

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ



АНГАРА

6 | 69

ГОД ИЗДАНИЯ 39-Й

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

На 2-й и 3-й страницах обложки фото Владимира Короткоручко из серии «Сибирское кружево».

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, № 36, Дом писателей. Телефон 4-56-76.

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1969.

Елена ЖИЛКИНА

В МАВЗОЛЕЕ

Так каждый раз,
ступив на площадь эту,
не заглушив волнения в себе,
придешь к нему, родному,
за советом
и за участьем
к собственной судьбе.
Она лишь капелька
в большом людском
потоке,
песчинка малая...
Но все мы,
все одним
охвачены желанием высоким
открыть сыновье
сердце перед ним.
Все помыслы свои
и все свои тревоги,
ошибки, беды, радости свои...
Со всех концов
ведут сюда дороги
народной всеобъемлющей
любви.
Она хранит
сквозь лет седую вьюгу
морщинку каждую
знакомого лица.
С таким доверием
приходят только к другу,
с такой любовью
смотрят на отца.

В. ХОДИЙ

ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЛ ИЛЬИЧ XX ВЕК

Рассказывают, живет в Иркутске женщина преклонных лет, которая подробно, в деталях повествует знакомым — молодым и старикам — о том, что когда-то в городе на Ангаре бывал Владимир Ульянов-Ленин.

Это не первый и не единственный сказ о посещении Ильичем прибайкальской земли. Теперь, как писал поэт,

Все больше про Ленина
сказы заводят.
Все больше про Ленина
баит народ...

В сборнике «Фольклор Восточной Сибири», изданном в Иркутске до войны, приведен рассказ «На байкальском фронте».

«В восемнадцатом году это было.

...Станция Байкал была сдана. Култук в это время дрался еще

двое суток, еще держался. Перевес был на стороне противника. В это время появился боевой самолет, стал летать над нами.

Тут стали говорить:

— Центральные войска очень близко. Здесь на самолете летает Ленин, сообщает о том, что нужно держаться.

Начали воодушевляться. Стала выходить фронтовая газета «Красноармеец». Небольшая газета, как маленький листок.

Говорили о том, что Ленин летит. Об этом говорили по фронту...»

Молва о Ленине ходила в народе и в стихах:

Сейчас он в Слюдянке
Живет у туннелей,
Как белый наскочит
отряд —
Тотчас же туннели
На них полетели,
Буржуйские войска
убиты лежат...

Знают в Прибайкалье, как и почему Владимир Ульянов Лениным называться стал, расскажут, как он в Сибири появился, как «генерал-губернатор, полицмейстер и начальник земский, обсоветовавшись, сообща порешили замуриновать Ульянова мил-человека в Александровский централ в одиночну камеру». А в северной, таежной Катанге среди эвенков и сейчас говорят о том, что «Ильич тут, в тайге живет» и что искать его надо, идя на закат солнца...

Легенды... Придуманное, призрачное подобие реальности. За фантастическими, причудливыми картинами не сразу, не с первого взгляда обнаруживаются те песчинки действительности, на которых и благодаря которым держатся самые дерзкие сказки. Без этих «песчинок» легенды не живут и дня.

А реальность такова, что Ленин был, есть и будет самым великим человеком на земле. Отсюда — были, есть и будут легенды о нем.

И еще одна песчинка действительности: Ильичу, направлявшемуся в сибирскую ссылку, местом явки был назначен город Иркутск...

В самом центре Иркутска, на улице Ленина есть большое, но вросшее в землю здание. Его хозяйка — Зоя Алексеевна Клочкова.

Этой общительной женщине совершенно чужды легенды. Чужды потому, что работа у нее самая что ни на есть «документальная»: она хранительница фондов государственного архива Иркутской области — заведующая его читальным залом.

— О Ленине? Есть у нас материалы. В 25-м фонде...

И вот уже получено разрешение в дирекции архива; Зоя Алексеевна из темноты и прохлады — царства, в котором живут не потерявшие

и поныне своей ценности, когда-то важные и сверхважные бумаги, приносит папку, на которой в августе 1898 года машинка отстучала слова: «Список водворенных в Иркутском генерал-губернаторстве, высланных по судебным приговорам и за государственные преступления с распределением их по местностям».

Надо отдать должное канцелярии генерал-губернатора: дело о «водворенных» велось тщательнейшим образом. На 38 страницах книги четко заполнялись графы. «Место водворения, имена и фамилии поднадзорных», «С какого времени считается срок гласного надзора» и так далее. Иркутское генерал-губернаторство в то время охватывало территорию Сибири в границах современной Якутской АССР, Красноярского края, Иркутской области и Тункинского аймака Бурятской АССР.

Туруханск, Енисейск, Минусинск, Верхоленск, Балаганск, Илим, Киренск, Якутск, Верхоянск, Нижнеколымск были наиболее известными местами политической ссылки. Некоторые царские министры острили по этому поводу: «Дальше едешь — тише будешь» и высылали своих политических противников в Восточную Сибирь — гигантскую тюрьму, куда трудно было ехать и еще труднее выбираться, тюрьму без окон, без железных засовов, в которой роль сторожей выполняли огромные пространства...

Не миновал этой тюрьмы и Владимир Ильич Ленин.

Листаешь поблекшие страницы «Списка водворенных» и среди десятка ссыльных то и дело встречаются знакомые имена и фамилии. Вот Захарий Коган — отец ныне известного в Иркутске учителя химии. Вот Петр Красиков и Виктор Курнатовский, впоследствии видные деятели Коммунистической партии. Оскар Энгберг и Иван Проминский — друзья Ленина по шушенской ссылке. А вот Глеб Кржижановский, Анатолий Ванеев, Василий Старков — товарищи Ильича по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса».

На девятнадцатой странице внизу взгляд приковывают дорогие каждому два слова «Ульянов Владимир». Список вначале заполнялся машинописью, потом — тушью и, наконец, карандашом. Под фамилией Ильича кто-то тушью и не совсем грамотно написал: «в сел. Шушинском». В графе «С какого времени считается срок гласного надзора» написано—«29 января 1897 г.», в графе «Срок гласного надзора» стоит цифра «три». А в конце карандашная скоропись: «Выехал в Псков».

Чуть выше запись: «Крупская Надежда (по мужу Ульянова), в сел. Шушинском; 11 марта 98 г.; 3; Выехала в Уфимскую губернию».

В архиве хранится «Дело Иркутского губернского управления о высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции Анатолия и Доминики Ванеевых». А. А. Ванеев был одним из тех, кто составлял ядро петербургского «Союза борьбы». Прекрасный товарищ, он поль-

зовался особой симпатией Ильича. Это у его постели в селе Ермаковском был подписан знаменитый «Протест 17-ти». Вскоре после этого болезнь оборвала жизнь стойкого революционера. Ванеев по существу погиб в самом начале пути и потому, быть может, до сих пор дело о нем и его жене находится в Иркутском архиве, так же как долгое время здесь находились интересные и уникальные документы о пребывании Ильича в сибирской ссылке.

В 1926 году газета «Советская Сибирь», выходящая и поныне в Новосибирске, писала: «В Иркутском губернском архивном бюро, в архиве бывшего генерал-губернатора найдены документы, относящиеся к пребыванию тов. Ленина в сибирской ссылке».

И далее: «Копии всех найденных в Иркутском архиве документов высланы уже в Москву и Институт Ленина». Очевидно, что вслед за копиями столица запросила и сами оригиналы.

О чем рассказывают эти документы?

29 января 1897 года «государь император по всеподданнейшему министра юстиции докладу повелеть соизволил» сослать в Сибирь административным порядком под гласный надзор полиции обвинявшихся в том, что они «входили в состав образовавшегося в 1894 году в С.-Петербурге социал-демократического сообщества, имевшего целью противоправительственную пропаганду среди рабочих», Петра Запорожца, Глеба Кржижановского, Анатолия Ванеева, Василия Старкова, Якова Ляховского, Владимира Ульянова, Юлия Цедербаума (Мартова) и Пантелеймона Лепешинского.

Вскоре главное тюремное управление известило иркутского военного генерал-губернатора, что вся группа ссыльных, за исключением Ульянова и Ляховского, переведена в Московскую пересыльную тюрьму и будет отправлена в Сибирь в начале марта по железной дороге с подготовляемым арестантским маршрутом. По состоянию здоровья Ульянову, а также Ляховскому было разрешено ехать в ссылку за свой счет по проходному свидетельству. Определить место отбытия под гласным надзором предстояло самому генерал-губернатору.

В середине февраля Ленин получил от петербургского градоначальника проходное свидетельство. «Имею честь уведомить департамент полиции, — написано в секретном донесении охранного отделения, — что... подлежащий высылке в Восточную Сибирь сын действительного статского советника Владимир Ульянов 17 числа сего месяца выбыл по проходному свидетельству в г. Иркутск...».

О том, что Ильич направлялся в ссылку в город Иркутск, говорят и другие документы.

«Если г. директор департамента полиции не разрешит мне присое-

диниться к партии для отправки на казенный счет по железной дороге, — писал он в Московское охранное отделение, — то я, тотчас же по получении ответа, отправлюсь в г. Иркутск на свой счет...»

«Имею честь уведомить департамент полиции,—доносил исполняющий обязанности московского обер-полицмейстера полковник Трепов, — что помощник присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов... 22 числа выбыл из столицы по направлению в г. Иркутск».

2 марта, приехав на станцию Обь, Ленин писал матери Марии Александровне: «Дальше, за Красноярском, движение есть только до Канска, т. е. на 220 верст, а всего до Иркутска около 1000. Значит, придется ехать на лошадях, — если придется». Путешествие до Иркутска на лошадях в весеннюю распутицу потребовало бы от Ленина и большого напряжения сил и значительных средств, недостаток в которых им сильно ощущался. Поэтому, воспользовавшись прибытием в Красноярск иркутского генерал-губернатора А. Д. Горемыкина, он подал на его имя прошение.

«По распоряжению административных властей я сослан в Восточную Сибирь на три года по политическому делу. По разрешению департамента полиции я приехал на место ссылки на свой счет по проходному свидетельству... Местом явки в этом проходном свидетельстве назначен город Иркутск...

Так как по справке у местного губернского начальства (т. е. в Енисейском губернском правлении) оказалось, что относительно меня нет еще никаких распоряжений, и так как, судя по общим предположениям, высказанным моей матери г. директором департамента полиции, возможно, что место жительства мне будет назначено в пределах Енисейской губернии, то явка в город Иркутск в этом последнем случае потребовала бы от меня весьма обременительных добавочных расходов на обратное путешествие. Поэтому я имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне остаться в городе Красноярске впредь до распоряжения о назначении мне места жительства...

Вместе с тем я ходатайствую о назначении мне места жительства ввиду слабости моего здоровья, в пределах Енисейской губернии и, если возможно, в Красноярском или Минусинском округе».

Следом за прошением Владимира Ильича генерал-губернатором было получено прошение и от Марии Александровны. Содержание его аналогичное — просьба разрешить сыну отбывать ссылку в одном из южных уездов Енисейской губернии.

Прошения были приняты во внимание и 24 марта 1897 года иркутский генерал-губернатор сообщил енисейскому губернатору, что В. И. Ульянова подлежит назначить на жительство в Минусинский округ, в местность, по его, губернатора, усмотрению.

Явка Ленина в Иркутск не состоялась.

ГОРОД У КРАСНЫХ ЯРОВ

Самолет, как подсказала эвенкийская легенда, летит на закат солнца. Оно сейчас в зените, и потому на земле, словно привязанная невидимым тросом, тащится за нами его тень. Тень у АН-10 такая же грузная, как и сам самолет. А с высоты семи тысяч метров она кажется еще и зыбкой.

Грузная и зыбкая тень легко и без остановок преодолевает большие и малые реки, многокилометровые таежные чащобы, желтые и черные многоугольники пашен. Ей нипочем бездорожье и распутица; и те около 1000 верст, которые разделяют Иркутск и Красноярск и которые не пришлось когда-то преодолеть Ленину на лошадях, она пробегает ровно за сто минут. Проплывают внизу Зима, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет — самые заметные «вешки» на вековом Московском тракте. А вот и Канск — 220 верст от Красноярска. Отсюда самолет начинает гасить высоту, постепенно приближаясь к своей тени.

Тень скачет по вершинам северного отрожья Больших Саян и потом, как-то сразу, нежданно бежит по шиферным и железным крышам большого города. На горизонте сверкнула широкая голубая лента и тут же, как только самолет быстрее пошел на снижение, внизу в солнечных бликах засверкал, заискрился Енисей. Тень, пробежав по песчаной косе, исчезла. И то ли окунулась в глубины многоводной реки, то ли растаяла в солнечных бликах, но больше ее никто не видел. Самолет коснулся посадочной полосы.

А когда наступил покой, из всего калейдоскопа в глазах застыло последнее — безлесая сопка и на ней одинокая башенка со шпилем. Эта башенка будет потом преследовать всюду — стоит только, идя по улицам, чуть-чуть выше обычного поднять голову.

— Караульная, — с гордостью сказал сосед по салону. И я понял сразу только то, что этот человек прилетел не в гости, а домой...

Красноярск такой же седой и древний, как Иркутск. Но в семье сибирских городов он считался старше своего восточного брата. В 1628 году на месте, что «угоже и крепко, и рыбно, и пашенка невелика есть, и лугов много, и где стоять городу, то место высоко — большая вода не поймает», на полуострове между Енисеем и его притоком Качей был заложен острог, которому дали название по красным обрывам (ярам) на левом высоком берегу Качи.

Острог стоял в окружении кочевых енисейских племен. Чтобы не быть захваченными врасплох, его жители возвели на ближайшей сопке вышку и назвали сопку Караульной. Потом надобность в вышке отпала и на ее месте поставили часовню. В красных ярах за три столетия

произошло много событий и перемен, и единственный свидетель их, хотя и немой, Часовенная башня.

Ее видел Радищев, записавший в своем дневнике на пути в илимскую ссылку: «Енисей течет между гор, оставляя в лощинах, к нему прилежащих, места изобильные. Красноярск имеет положение, как некоторые города в Альпах».

Ее видели шедшие «во глубину сибирских руд» декабристы, Чернышевский, Буташевич-Петрашевский, Короленко. Останавливался здесь Чехов. «На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, — писал он, — а на том — горы, напоминавшие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные».

Вид на Часовенную башню открывался и из уличного окна дома, в котором на пути в ссылку остановился Владимир Ульянов. Он приехал в Красноярск мартовским вечером на десятые сутки после отбытия из Москвы. «Владимир Ильич Ленин, высланный царским правительством в сибирскую ссылку, прибыл на станцию Красноярск 4 марта 1897 года», — высечено на двухметровой мемориальной доске, установленной у входа в здание железнодорожного вокзала.

Исследователи подсчитали, что в Москве есть около 150 памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью Ильича, в Ленинграде — свыше 200, в Сибири — почти семьдесят. И если Шушенское — это конечный и по времени пребывания самый значительный пункт сибирской ссылки Ленина, как он сам в шутку называл, «место моего окончательного успокоения», то Красноярск — центр, духовная ее столица. «...Все-таки после Шуши приятно людей повидать и поразговаривать не об охоте и не о шушенских «новостях», — писал Владимир Ильич своей матери во время второго — в сентябре 1898 года — приезда в Красноярск.

Не удивительно, конечно, что жители города на Енисее как святыни берегут места, связанные с именем Ильича. Если бы кто-нибудь взялся описать биографию вождя исключительно по сохранившимся зданиям, улицам, вокзалам, пароходам и «другим долгим делам», то красноярские мемориалы вошли бы в эту книгу заметными, яркими страницами. Так же как заметны и ярки в жизни Ленина были те сто дней, что он провел в этом городе, в дороге к нему и от него.

С железнодорожного вокзала, который потом он посещал часто, отправляя письма родным, справляясь о времени прибытия поезда, в котором следовали в ссылку его товарищи по «Союзу борьбы», Владимир Ильич направился к дому К. Г. Поповой. Так посоветовал ему еще в дороге красноярский врач В. М. Крутовский. Дом этот не случайно называли «штаб-квартирой ссыльных», в нем последние оста-

навливались издавна. Крутовский и дальше помогал облегчить участь Владимира Ильича, избежать явки в Иркутск (по его ходатайству енисейский губернатор предписал подвергнуть Владимира Ильича медицинскому освидетельствованию, в результате которого у Ленина якобы нашли верхушечный процесс в легких и это способствовало назначению местом ссылки Минусинского округа). Крутовский был яркой фигурой в Красноярске. Товарищ Чехова по университету, друг Короленко и Михайловского, он отличался довольно либеральными взглядами. Непросто сложилась однако впоследствии его судьба. Став в 1917 году губернским комиссаром Временного правительства, а позже министром Временного Сибирского правительства, он оказался фактически в противоположном Ленину лагере.

Владимир Ильич остался доволен своим жильем. «Здесь я живу очень хорошо: устроился на квартире удобно — тем более, что живу на полном пансионе», — писал он матери. Жизнерадостные, бодрые, шутливые письма 27-летнего ссыльного Владимира Ульянова хорошо передают нам его светлый облик, его заботу о родных и товарищах. «Про себя ничего нового написать не могу: живу по-прежнему, шляюсь в библиотеку за город, шляюсь просто по окрестностям для прогулки, шляюсь к знакомым, сплю за двоих, — одним словом, все как быть следует».

Ильич, конечно, скромничал. Такие целеустремленные натуры, как он, не теряли даром времени даже в ссылке. Уже на третий день после приезда в Красноярск он отправился в городскую библиотеку. Здесь новый читатель просматривал всю центральную и сибирскую периодику, в том числе иркутское «Восточное обозрение».

На пятый день своего пребывания в Красноярске он направился за город, в Таракановку, чтобы ознакомиться с библиотекой, которая была широко известна, но мало кому доступна. У Ильича на руках было рекомендательное письмо все того же В. М. Крутовского: «Некто г-н Ульянов — мой знакомый, очень хотел бы осмотреть вашу интересную библиотеку...» Владелец редчайшего по тем временам собрания 200 тысяч книг, журналов, комплектов газет, нескольких вагонов архивов, многих из которых не было в государственных библиотеках России, купец и винозаводчик Г. В. Юдин охотно внял просьбе своего лечащего врача. На следующий день Ленин писал сестре Марии Ильиничне: «Вчера попал-таки в здешнюю знаменитую библиотеку Юдина, который радушно меня встретил и показывал свои книгохранилища. Он разрешил мне и заниматься в ней... Ознакомился я с его библиотекой далеко не вполне, но это во всяком случае замечательное собрание книг». До самого отъезда в Шушенское Ильич ежедневно ходил в эту библиотеку, черпая материалы к своей фундаментальной книге «Развитие капитализма в России», которую начал еще в Петербурге, и дру-

тим задуманным работам. «Я очень рад, что могу провести здесь время не совсем зря», — писал он матери.

К счастью для нас и наших потомков, сохранился двухэтажный дом Г. В. Юдина. Он, как и семьдесят с лишним лет тому назад, стоит у самого подножия некогда знаменитой археологическими раскопками и находками Афонтовой горы. Стоит только подняться по ажурной, «восьмиэтажной» лестнице, сменившей скрипучие деревянные сходни. Дом не одинок, его окружают здания столь же старинные, со шпилями и резными украшениями — как-никак настоящая дача была здесь в те времена.

Под окнами второго этажа установлен барельеф Ильича и рядом надпись: «В этом доме помещалась библиотека Г. В. Юдина, в которой в марте—апреле 1897 года работал Владимир Ильич Ленин».

В 1907 году Юдин, будучи уже в преклонном возрасте, продал свое бесценное сокровище. Он неоднократно предлагал библиотеку русским государственным книгохранилищам, но из-за нерасторопности и жадности царских чиновников сделка не состоялась. Юдинское собрание книг за 300 тысяч рублей золотом приобрела Вашингтонская библиотека Конгресса. Уникальные издания по истории и экономике России и Сибири образовали в ней Славянский отдел. Лишь десять тысяч томов художественной и некоторой другой литературы, видимо, меньше интересовавшей американцев, хранятся сейчас в Красноярской краевой библиотеке, составляя ее так называемый юдинский фонд. Есть в его составе книги, с которыми работал Ленин. Например, каждый может прочесть здесь изданные в Иркутске в 1893 году «Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний», которые Владимир Ильич использовал в своей работе «Развитие капитализма в России». В канун 50-летия Октябрьской революции Красноярской краевой библиотеке было присвоено имя Ленина.

В юдинской даче до тридцатых годов размещался детский приют. Затем двухэтажный дом использовали под начальную школу. Только одна небольшая комната на втором этаже сохранялась в таком виде, в каком ее посещал Ильич. Сейчас рядом с бывшей дачей построена большая каменная школа. Дом с резными наличниками опустел. И это кстати. В городе все здания, в которых жил и работал Ленин, реставрированы.

К сожалению, еще в 1906 году был снесен дом К. Г. Поповой, в котором почти два месяца жил Владимир Ильич. Зато сохранился соседний сруб. Ссыльные, часто приезжавшие в Красноярск из губернии, останавливались на квартире у Поповой. Некоторые из них располагались в комнате Ульянова, занимая для ночлега находившийся здесь диван. Беседы и споры гостей отвлекали внимание, мешали работать, по-

этому Ильича устроили для работы в одной из комнат соседнего дома. Сейчас этот дом также реставрирован.

Не проходят равнодушно жители и гости Красноярска мимо дома на улице Сурикова, в котором в конце прошлого века помещалась городская библиотека; здания на проспекте Мира, где раньше хозяйничало Енисейское губернское управление и где Ленину нередко приходилось бывать; дома марксиста П. А. Красикова, который ссыльный В. И. Ульянов посещал до отъезда в Шушенское и в котором он жил во время своего второго кратковременного приезда в Красноярск; дома на улице Дзержинского, где собирался первый в городе марксистский кружок, созданный по совету Ленина. После посещения Красноярска в сентябре 1898 года Владимир Ильич писал в статье «Наша ближайшая задача»:

«Местная социал-демократическая работа достигла у нас уже довольно высокого развития. Семена социал-демократических идей заброшены уже повсюду в России; листки — это первая форма социал-демократической литературы — знакомы уже всем русским рабочим, от Петербурга до Красноярска и от Кавказа до Урала. Нам недостает теперь именно сплочения всей этой местной работы в работу одной *партии*».

В Красноярске давно работает группа энтузиастов по изучению и особенно поискам новых, неизвестных документов, которые помогли бы полнее и ярче восстановить для нас и наших потомков теперь уже далекие сибирские дни Ульянова-Ленина. Среди этих людей, так глубоко преданных ленинской теме, особо выделяется краевед Ефим Ильич Владимиров. С 1924 года девятнадцатилетним юношей начал он собирать материалы о встречах сибиряков с вождем революции и Советского государства. Ездил в Москву, встречался с П. Н. Лепешинским, З. П. Кржижановской, Л. Н. Скорняковым, Ф. Я. Еоном и многими другими, кто когда-то знал Ильича или встречался с ним. Немало ценного обнаружил и поведал сибирякам Владимиров. Его самая сокровенная мечта — найти плетеную корзину с неизвестными до сих пор сибирскими рукописями Ленина...

Посчастливилось увидеться с Евгенией Марковной Замощиной-Садовской. Этой женщине теперь более 60 лет. А в то время, когда она писала Владимиру Ильичу Ленину, ей было 12 лет. Дочь известного красноярского большевика, Женя Замощина в декабре 1917 года училась в третьем классе гимназии. Училась хорошо, но для перехода в следующий класс нужно было иметь отличную оценку по закону божьему. А предмет этот ей не нравился, не верила она в бога. Спрашивала отца: «Как же так Советская власть терпит в школах закон божий?

Кто может отменить его?» Отец сказал: «Ленин». Девочка садится за письменный стол и начинает писать:

«Дорогой товарищ Ленин!

...Вы большевик, и я тоже большевичка. Пожалуйста, я вас прошу написать нашей гимназии предписание, чтобы у нас не был обязательным закон божий...»

И вот прошло более полувека. Мы сидим с Евгенией Марковной и ее мужем Павлом Павловичем Садовским на крыльце их дома. Тихо. Лишь с Енисея тянет вечерней прохладой и потому чуть-чуть шелестят листья на деревьях. Хозяева рассказывают о своей жизни. Получила ли Евгения Марковна ответ на письмо? Да, вскоре к ее большой радости из столицы пришел конверт. По поручению Владимира Ильича сообщалось, что с победой революции в учебных заведениях вводятся новые порядки: церковь отделяется от государства.

Евгения Марковна много лет проработала и сейчас, несмотря на пенсионный возраст, продолжает работать с детьми. В городском Дворце пионеров она преподает пение. Несколько лет они с мужем прожили в Иркутске, тогда Павел Павлович работал в Союзпушнине. Все остальные годы Замощина-Садовская безвыездно живет в Красноярске. С особым чувством разучивает и поет она с пионерами песни о Ленине.

— Красноярцы — сердцем яры, — говорит Евгения Марковна, — Ленина они помнят и чтут...

ПО СЛЕДУ «СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ»

Кажется, проектировщики немного ошиблись — здание стоит чуть боком к Енисею, всеми своими колоннами повернувшись скорее не к реке, а к восходу солнца. Тем не менее, оно впечатляет. Особенно, если смотреть с воды, — на фоне густо посаженных жилых домов-«коробок» оправданы и монументальность и выбор цвета. Не случайно макет Красноярского речного вокзала — по размерам и величественности второго в нашей стране после Химкинского — демонстрировался на Всемирной выставке в Брюсселе.

Здание построили в 50-х годах нынешнего века, а до этого здесь стояли временные постройки, так как коротка, временна навигация на сибирских реках.

Не был исключением и 1897 год. Енисей тогда вскрылся в конце апреля. И сразу же «господа пассажиры» были извещены афишей, что 30 апреля утром от красноярской пристани до Минусинска первым рейсом отправился товаро-пассажирский пароход «Святитель Николай».

В назначенное время в числе прочих на пристань прибыли «государственные преступники»: Владимир Ульянов, Глеб Кржижановский, Василий Старков, мать Кржижановского Эльвира Эрнестовна, пожелавшая

вместе с сыном отправиться в ссылку. Ильич в один из 58 дней, проведенных в Красноярске, встретил на железнодорожной станции своих друзей по «Союзу борьбы», следовавших в Сибирь на казенный счет, особой партией, то есть под конвоем, и теперь с двумя из них, которым также был назначен Минусинский округ, уезжал к месту жительства.

Анатолий Ванеев, оставшийся в Красноярске в ожидании оказии на Туруханск, писал: «Сегодня проводил трех товарищей, назначенных в Минусинский округ... Веселыми и жизнерадостными уехали они... Один — в село Шушенское, двое других — в Тесинское».

Шлепая плицами, медленно карабкался вверх по Енисею «Святитель Николай», и никто не думал о том, что рейс этот — на его многолетнем навигационном пути — станет историческим, приведет его в бессмертие.

На Енисее есть много старых речников, кто хорошо помнит это судно.

«Святитель Николай» был построен в Тюмени в 1886 году по заказу А. М. Сибирякова, известного организатора полярных исследований, для плавания по бурной и порожистой Ангаре. Но Ангара тогда никому не покорялась, и Сибиряков вынужден был продать свое детище акционерному обществу пароходства на Енисее. После Октябрьской революции из названия парохода убрали слово «Святитель». Потом, с разгромом колчаковщины, ему дали имя «Красноармеец». И опять ненадолго.

В 20-х годах пароход переделали на сухогрузную, а в 40-х—на нефтеналивную баржу. Многие видели ее на енисейском многоводье, но не все знали, какую долгую жизнь прожило судно. Только в 1960 году баржу № 318 списали из-за полной непригодности и пришвартовали туда, откуда уже никогда не возвращаются.

И все-таки ни у кого не поднялась рука отправить пароход в мартеновскую печь. На приколе Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базы ее берегла память о Ленине. Енисейские речники всегда считали, что они перед ней в неоплатном долгу. Для будущих поколений сохранены броневик, с которого Ильич произнес речь по возвращении из-за границы, паровоз, доставивший вождя на родину, горьковские автомобилестроители изготовили автомашину — точную копию той, на которой ездил глава первого в мире социалистического государства... Сибиряки давно считали, что нужно полностью восстановить пароход, на котором плыл по Енисею Ленин, отправляясь в сибирскую ссылку, и создать корабль-музей.

И вот настал долгожданный час. Очевидцы рассказывают, как в один из летних дней к затону Подтесовской РЭБ подошел рейдовый

буксир. Протиснувшись сквозь скопление закончивших свою корабельную жизнь металлических посудин, он осторожно пришвартовался к барже № 318, завел трос и двинулся в обратный путь.

Корабль истории, от которого уцелели лишь кран-балка да чугунные кнехты, останавливается у слипа. Суда, стоящие на рейде Подтесова, салютуют ему протяжными гудками.

За короткое время работники Подтесовской базы восстановили обшивку парохода-ветерана. Когда экономисты предприятия подсчитали, что на эту операцию необходимо затратить четыре тысячи рублей, речники на общем собрании вынесли решение: отработать в счет «Святителя Николая» по три часа.

Через месяц судно уже было в состоянии, правда, с помощью буксира передвигаться на большое расстояние. Оно проделало путь от Подтесово до Красноярска. На слипе судоремонтного завода ветеран простоит до начала навигации 1970 года, а потом его отбуксируют к месту вечной стоянки.

Как Ленин со своими соратниками добирался из Красноярска к месту «окончательного успокоения», сохранившиеся документы, а также воспоминания очевидцев повествуют очень скупо. Известный рассказ О. Б. Лепешинской о том, как Владимир Ильич необычайно быстро прочитывал в пути страницы книг и как на вопрос, разве можно так быстро читать, он отвечал: «Вы правы: я читаю быстро. Но так и надо: мне необходимо очень много прочесть. Медленно читать мне никак нельзя», относится ко времени его возвращения в Шушенское после второго краткого посещения Красноярска.

Несколько лет тому назад в журнале «Нева» были опубликованы воспоминания фельдшерицы Л. И. Удимовой. Она родилась в Иркутске, а затем переехала в Красноярск, где поступила учиться в женскую фельдшерскую школу, основал которую В. М. Крутовский. Удимова рассказывает: «Я ехала погостить к школьной подруге. Наш разговор начался об Енисее, по которому мы ехали, о его красотах. Я могла рассказать Владимиру Ильичу, как проезжему человеку, много интересного о своих товарищах, о нашем кружке. Но больше слушала Владимира Ильича. Запомнились его манера говорить и держаться, необычайная подвижность, быстрота движений и в особенности запомнился жест правой руки, быстро схватывающей рукоятку лебедки, возле которой на канатах, брошенных на корме парохода, мы и сидели, разговаривая... Я, конечно, не запомнила всего, о чем у нас тогда шла речь. Помню, что в разговоре Владимир Ильич упоминал о библиотеке Юдина, в которой работал. Говорил о предполагавшемся приезде Н. К. Крупской».

«Святитель Николай» вышел из Красноярска 30 апреля, и лишь 7 мая Ильич писал матери из Минусинска:

«Приехали мы сюда, дорогая мамочка, только вчера. Завтра собираемся ехать в свои села, и я хотел было поподробнее написать тебе о путешествии сюда, которое оказалось очень дорогим и очень неудобным... но не знаю, успею ли это сделать ввиду того, что теперь я сильно замотался в переездах, а завтра буду, пожалуй занят еще больше. Если не успею завтра написать поподробнее, то ограничусь тем, что уже написано здесь, чтобы дать лишь весть о себе, а подробное письмо отложу уже до своей «Шу-шу-шу»...»

Какие подробности своего путешествия сообщил домой Владимир Ильич, мы так и не знаем, потому что среди пятнадцати, до настоящего времени не разысканных сибирских писем Ленина родным, значится и это, посланное между 7 и 18 мая 1897 года. 18 мая он писал сестре Марии Ильиничне: «Что поездка сюда — вещь довольно хлопотливая и мало приятная, это ты видела уже, конечно, из моего письма с описанием пути на лошадях... Возможен всегда такой казус, что пароход бросит на полдороге».

А дело было так. Преодолев за пятеро суток всего 349 километров, «Святитель Николай» остановился у пристани Сорокино, что в 77 километрах от Минусинска. Дальше пароход не пошел, потому что в прежние времена Енисей в этом месте образовывал множество мелей и перекатов и навигация возможна была только при большой воде — в период таяния снегов в Саянах, то есть в конце мая. Пассажирам пришлось добираться до Минусинска на лошадях.

Этот-то переезд и «замотал» Ильича. Переночевав в Минусинске, он расстался со своими друзьями, чтобы снова оказаться в пути, который, наконец, привел его к месту ссылки.

Теперь, более семидесяти лет спустя, этот путь стремятся повторить тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Невидимой силой влечет их эта причальная стенка, эта гранитная набережная, на верхнем ярусе которой аллея, и на аллее — невысокий постамент. Под прозрачным колпаком последнего установлен макет в одну сотую натуральной величины колесного, в 140 лошадиных сил парохода-ветерана.

А у причальной стенки расположились современные потомки «Святителя Николая» — комфортабельные многопалубные речные лайнеры и заметно покачивающиеся на енисейской волне стремительные «ракеты» и «метеоры».

...Красноярск остается позади. Но большой город еще долго будет давать знать о себе. Сразу за Афонтовой горой начинается многокилометровый сосновый бор, выходящий к Енисею множеством домов отды-

ха, дач, пляжей. В отдельных местах могучую реку с обеих сторон сжимают высокие берега, и тогда поражаешься работе, какую пришлось ей проделать, чтобы пробиться к отцу-океану.

И тут же смена впечатлений: над нами проплывает линия электропередачи. Четыре тугие нитки ЛЭП-220 повисли над Енисеем, удерживаемые двумя опорами и точным математическим расчетом человека.

Потом снова дикие скалы, наша «Ракета» да на берегу торопыга-тепловоз, толкающий впереди себя платформу. Завидев нас, тепловоз ускорил обороты, захотел, видно, посостязаться. Не получилось: колеса — не крылья...

В азарте соревнования мы сразу и не заметили, как перед нами выросли два девятиэтажных дома и рядом другие здания из кирпича, бетона и стекла, как удовлетворенная гонкой «Ракета» стала сбавлять скорость.

Разговорчивый матрос, готовящийся принять трап, пояснил группе ребят с рюкзаками за спинами:

— Дальше ходу нет. Плотина стала поперек Енисея...

То ли легенда это, то ли был такой факт в действительности, но рассказ о стоянке «Святителя Николая» у пристани Скит и первомайской маевке 1897 года Ленина, Кржижановского и Старкова стал теперь хрестоматийным, без него не обходится всяк, кто пишет о здешних местах. Вот как излагает его Борис Полевой в своей книге «Саянские записи»:

«Енисей еще не угомонился после вешних своих буйств. По стрежню его неслись отдельные льдины. Когда сгустились сумерки, капитан, опасаясь этих льдин, решил перестоять ночь. «Святитель Николай» подвалил к берегу у Филаретова ручья, к устью которого исстари прижался небольшой монастырь, по-здешнему — скит. Пассажиры сошли на берег. Минусинские золотопромышленники, возвращавшиеся с шумных гулянок в губернском городе, быстро нашли общий язык с монастырским отцом-келарем. Их пригласили в трапезную откушать особо знаменитой в этих краях скитской ухи. Ссыльные поселенцы вышли на каменный мысок, с которого открывался вид на Енисей. Разожгли большой костер, и всю ночь над просторами реки раздавались революционные песни».

Ефим Ильич Владимиров рассказывает эту историю несколько иначе. По тогдашней традиции, открывавшие навигацию пароходы приставали у скита, и команда участвовала в молебне «О плавающих и путешествующих». Монастырский причт громогласно желал «ангела хранителя и наставника... сохраняюща и избавляюща их от всякого

злого обстояния видимых и невидимых врагов». А заночевал тогда «Святитель Николай» из-за кромешной тьмы на реке...

Так вот они какие, Дивные горы! Так вот он какой, легендарный Дивногорск! Сразу пришли на память чьи-то слова, ставшие афоризмом: «Я не знаю, нужен ли я Дивногорску, но этот город нужен каждому молодому человеку...»

Нам, группе иркутян, повезло. В редакции городской газеты «Огни Енисея» нас познакомили с электромонтажником Анатолием Гужвием. Анатолий пришел сюда по рабкоровским делам, а когда узнал, кто мы такие, предложил свои услуги гида.

Разговорчивый, по уши влюбленный в свой город, наш гид сокрушался лишь о том, что он-де, один из нынешних четырех тысяч комсомольцев Дивногорска, не самый-самый первый его строитель. Что не он в 1954 году в составе отряда изыскателей прошел сквозь горы и снега в Старый скит, а потом поселок Шумиху, чтобы выбрать створ будущей гидроэлектростанции. Что не он два года спустя среди тех, кто, закончив строительство первой ГЭС на Ангаре, приехал делать то же самое на Енисее. Ведь поначалу в Дивногорске каждый четвертый во главе с начальником строительства Андреем Ефимовичем Бочкиным был иркутянином. Не случайно, наверное, первому схватиться с могучей рекой на ее перекрытии, первому сбросить диабазовую глыбу со словами «Мы покорим тебя, Енисей!» доверили бывшему строителю Иркутской гидроэлектростанции Леониду Назимко...

Анатолий оказался еще и знатоком истории, даже, точнее, глубокой предыстории Дивногорска.

— Старый скит? Да он тут, рядом. За вторым девятиэтажным домом видели котельную? На ее месте у самой воды стояла часовенька...

Идем к этой самой предыстории. У берега, покачиваясь, стоят на приколе теплоходы «Орджоникидзе» и «Киров». Их «зафрахтовали» студенты московских институтов: авиационного, энергетического, инженерно-строительного. Они приехали помогать строить величайшую в мире ГЭС.

А вот и Филаретов ручей. Он так и сейчас называется. На взгорке зеленый бор и одинокий древний двухэтажный дом.

...Привел когда-то на дикий брег Енисея немногочисленную братию расстрига Филарет. От греха людского подальше, от жизни затхлой и жестокой. Здесь беглецы решили ждать того времени, когда во всем мире люди станут братьями. Но не дождался божьего часа монах по имени Алексей, отчаялся, переправился на высокий противоположный берег реки и со скалы бросился в пучину. С тех пор скалу зовут Монах.

А вскоре через эти места проезжал человек, провозгласивший братство людей на земле. Проезжал он на пути в неволю и был далек от отчаяния, потому что видел цель и пути к ее достижению.

Прошли еще десятилетия, и теперь сюда, в когда-то глухую и дикую сторону, едут люди за самым главным в жизни...

* * *

Анатолий показал город, улицами-уступами напоминающий наш Железногорск-Илимский, потом свозил на строительство гидростанции.

— Ну, как?

Этот вопрос задал он. Потом его задавали в Иркутске. Ответ, кажется, не удовлетворил Анатолия. Что ж, он должен нас понимать. Красноярскую ГЭС начали строить после Волховгэса, Днепрогэса, Иркутска, Братска. Так что в данном случае сработала эстафета впечатлений.

Если же сравнивать, то шумихинский исполин — это несколько увеличенная копия Падунского гиганта. Здесь немного круче диабазовые «плечи», бойчее вода, рвущаяся из донных отверстий, больше высота... Один красноярский художник восхищенно рассказывал:

— От уровня реки до гребня плотины 130 метров. Парни и девчата, работающие там, любят высоту. И птицы доверяют людям, они строят свои гнезда из того же бетона, что уложен в тело плотины. Я видел наверху, как ласточки летают под колесами самосвалов, берут в клювы немного раствора и улетают лепить свои гнезда...

В теле плотины Красноярской ГЭС двенадцать пар «отверстий». С полным пуском енисейского исполина его энергия будет равна мускульной энергии 150 000 000 человек!

И еще для одного объекта, строящегося в Дивных горах, не просто подобрать сравнение. Я долго допытывался у Анатолия Гужвия, где же он работает. Анатолий, хитро улыбаясь, отвечал:

— Приблизимся — покажу...

И начал показывать тогда, когда я ни о чем не подозревал.

— Посмотрите на левый берег. Краны видите? Вот там строится судоподъемник, какого еще нет у нас в стране, да и, говорят, за границей только начали делать. Если вы видели в больших городах фуникулеры, то можете отдаленно представить себе, что это будет. Рука Гулливера с лодкой на ладони! В общем, приезжайте — увидите сами...

Мы покидали эту страну гулливеров. На палубе «Кирова» был в разгаре вечер поэзии. Кто-то на полную мощь включил громкоговоритель, и до нас донесся поэтический сказ о дивном диве:

Здесь кострами
Ночи раскутаны,
Здесь дороги
До звона укатаны.
И монашьи тропы
распутаны
И грядущего
трассы угаданы.
Неотглаженный
и горластый,
работящий и боевой,
между сопок и скал
клыкастых
властно ширится
город мой.
Мой,
И точка.
По кровному праву.
Нам сегодня такие
по нраву.
Знаю —
будут дома-громадины,
богатырская будет ГЭС!
Верю —
здесь соберут
романтики
Свой Всемирный
конгресс.

«В ШУШЕ, У ПОДНОЖИЯ САЯНА...»

Правду говорят, что стихи пишут все.

До нас дошла единственная стихотворная строка, принадлежащая перу Ильича. «...Первый (и последний) стих моего стихотворения содержит в себе некую поэтическую гиперболу (есть ведь такая фигура у поэтов!) насчет «подножия», — сообщал Ленин своей сестре Марии Ильиничне—«Маняше», как он ласково называл ее, 19 июля 1897 года. А сам стих он написал двумя месяцами раньше. «...Я недаром сочинял еще в Красноярске стихи: «В Шуше, у подножия Саяна...», но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!» Это тоже из письма родным.

«В Шуше, у подножия Саяна...» Владимир Ильич провел почти все три года своей сибирской ссылки.

Интересно описание Лениным места его «окончательного успокоения».

18 мая: «Шу-шу-шу — село недурное. Правда, лежит оно на довольно голом месте, но невдалеке (версты 1½—2) есть лес, хотя и сильно повырубленный. К Енисею прохода нет, но река Шушь течет около самого села, а затем довольно большой приток Енисея недалеко (1—1½ версты), и там можно будет купаться. На горизонте — Саянские горы или отроги их; некоторые совсем белые, и снег на них едва ли когда-либо стаивает. Значит, и по части художественности кое-что есть...»

19 июля: «Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу... Гм, гм! Да ведь я, кажись, однажды уже описывал его. Село большое, в не-

сколько улиц, довольно грязных, пыльных—все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет. Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза».

Из Красноярска в Шушенское ссыльный Ульянов добирался восемь суток. Желающий сегодня проделать такой путь затрачивает 55 минут.

С высоты полета ИЛ-14 невозможно обозреть плес Енисея, а Дивные горы надежно прячут от взора пассажиров плотину Красноярской ГЭС. Река «открывается» выше Дивногорска, когда это уже не просто река, а, как принято говорить теперь, — море.

Там, где Енисей особенно широко разливается, горы вовсе исчезают. Это знаменитая Минусинская котловина — самое теплое место в Восточной Сибири. Первое — воздушное — знакомство с ней сменяется прочным, земным, когда самолет, сделав заход с Енисея, да так, что едва не коснулся воды, побежал по ровному зеленому полю. До Шушенского отсюда остается километров десять, так что пока едешь в автобусе, вдоволь насмотришься на здешний пейзаж, а завидев вдали селение, безошибочно скажешь: точь-в-точь средняя полоса Европейской России.

В начале третьей декады июля шушенская районная газета «Ленинская искра» сообщала о первых убранных гектарах гороха. На полях мы видели созревающие коноплю, табак и бахчу. Потом нам будут советовать в следующий раз приезжать в пору сбора плодов — известных в Сибири минусинских арбузов и яблок и читать стихи:

Долдонят о Сибири:
Мол, стужами грозна-с...
А солнце
медной гирей
придавило нас...

Пока через голову водителя автобуса мы видели богатые, согретые жарким солнцем поля и наплывающее Шушенское. Автобус мчался по залитой асфальтом дороге. На околице поселка чистота, благоустроенные, как в современных городах, тротуары. Там, где кончается асфальт, — огороды, цветники, плантации табака, «все как быть следует»...

Село, которое Ильич ласково называл «Шу-шу-шу», основали русские землепроходцы в начале XVIII века. Долго, очень долго было оно глухим, далеким от больших городов и весей поселением. Местные жители говорили: «Дальше Шуши Саяны, дальше Саян — край света. Глуше Шуши не сыщешь: для нас урядник—и царь и бог». Так что не случайно село приобрело славу удобного места для заточения противников

царизма. В прошлом веке здесь отбывали ссылку декабристы А. Ф. Фролов и П. И. Фаленберг, а затем М. В. Буташевич-Петрашевский. Утверждают, между прочим, что декабристы первыми начали сеять в этом краю табак, арбузы, дыни. А один из домов, в котором жил Ленин, был построен Фроловым для Фаленберга.

...Он приехал в Шушенское поздно вечером 8 мая 1897 года на крестьянской телеге, запряженной парой лошадей. Через несколько дней енисейский губернатор докладывал в канцелярию иркутского генерал-губернатора: «Минусинский окружной исправник донес, что политический административно-ссыльный Владимир Ульянов прибыл в назначенное ему место жительства...»

В момент приезда Ильича в селе не было политических ссыльных. Но вскоре сюда прибыли польский рабочий И. Л. Проминский и токарь Путиловского завода, финн по национальности О. А. Энгберг. С ними у Ленина установились дружеские отношения. Он помогал им заниматься самообразованием, вместе они ходили на охоту, играли в шахматы. Проминский после ссылки много лет прожил в Сибири, в частности, судьба забросила его в Иркутск. В 1920 году он написал Ленину письмо, в котором описал свою жизнь, и, как человек скромный, попросил только об одном: помочь переехать на Алтайскую железную дорогу, где условия жизни и работы были получше. Владимир Ильич послал в Иркутск такую телеграмму:

«Прошу оказать всяческую помощь моему товарищу по ссылке в Сибири Ивану Лукичу Проминскому, смазчику вагонов при Иннокентьевском депо... Затем прошу передать ему по телеграфу мой привет, и, наконец, прошу перевести его на Алтайскую железную дорогу на лучшее место. Он уже стар. Телеграфируйте, что, сделали. Ленин».

Некоторое время спустя Проминский побывал в Москве, виделся с Лениным и Крупской. Ильич с участием отнесся к его желанию вернуться на родину, в Польшу. Однако по дороге на запад Иван Лукич неожиданно скончался. Сейчас в Иркутске живут его младшая дочь — Янина Ивановна и внуки.

Надежда Константиновна Крупская приехала в Шушенское почти в тот же день, что и Владимир Ильич, — 7 мая, но только годом позже.

Среди документов, что рассказывают о ссылке Ленина и которые долгое время хранились в Иркутском губернском архиве, были материалы о прибытии Крупской в Сибирь. Например, донесение минусинского исправника, что им «имеется наблюдение» за ее вступлением в брак с Ульяновым...

Оказывается, не так-то просто это было сделать Надежде Константиновне. Приговоренной за участие в революционной работе к трем го-

дам ссылки в Уфимскую губернию, ей разрешили отбывать этот срок в Сибири только при условии обязательного вступления в брак с Владимиром Ильичем. 10 июля 1898 года в шушенской церкви состоялся обряд венчания, в котором им пришлось участвовать, потому что в противном случае брак в глазах властей не считался бы действительным. «Поручителями» за «поднадзорных» жениха и невесту выступили местные крестьяне.

Сегодня нет той церкви и нет в живых крестьян, как их называют, самовидцев Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Сегодня в Шушенском живут дети, внуки и правнуки тех, с кем Ильич часто беседовал у поскотины, кого учил по зимней Шуше кататься на коньках, с кем ходил на охоту в богатые дичью окрестности села.

Одной из наших первых шушенских встреч, даже в некотором роде встречей-сюрпризом явилось знакомство с Олей Кузнецовой — экскурсоводом Дома-музея В. И. Ленина.

Дом-музей был открыт 7 ноября 1938 года. Его директор Николай Данилович Городецкий показал нам сложенную до потолка стопку книг записей-откликов. Мы попросили показать вначале первую, а затем последнюю книги. Так вот самыми первыми экскурсантами Дома-музея были девять бойцов пограничного отряда (в то время государственная граница проходила рядом с Тувой) и 360 шушенских школьников. Поначалу поклониться ленинским местам шли и ехали люди из окрестных сел. В сороковом году здесь побывало 10 тысяч экскурсантов. Это мало по теперешним масштабам.

В летнее время, когда поистине нескончаемым потоком с разных уголков страны едут в Шушенское гости, на помощь работникам Дома-музея приходят местные школьники. Они об Ильиче знают и рассказывают так, словно жили с ним на одной улице...

Так мы и познакомились с Олей Кузнецовой, ученицей 9-го класса первой шушенской школы. С нами она проводила свою 151-ю экскурсию. Не просто, оказывается, быть экскурсоводом. Ведь одно дело рассказывать о Ленине взрослым, совсем иное — детям. Самое же трудное — если в группе те и другие. И вопросы подчас бывают неожиданные. Например, когда проводила первую экскурсию, один юноша спросил: кто автор памятника, что стоит у входа в Дом-музей? Стушевалась, не ответила, прибежала домой и скорее в книжки.

Две, три, четыре тысячи человек в день! Кто они? Откуда? Зачем идут сюда?

Стучит железная щеколда, со скрипом отворяется калитка, и новая

группа людей поднимается по ступенькам дома, еще сработанного руками декабриста. Что видит, что чувствует здесь стар и млад? Об этом скажут потом на выходе, взяв в руки перо, а сейчас с обнаженными головами они столпились в дверях комнаты, где началось у Ильича, как он говорил, «шушенское сидение». На столе раскрытая книга и несколько газет, к столу придвинуты стулья. Книжные полки, деревянная кровать — все очень просто. В этой комнате Ильич пережил немало радостных и горестных минут. Здесь был у него Кржижановский («Кстати, Глеб стал теперь великим охотником до пения, так что мои молчаливые комнаты сильно повеселели с его приездом и опять затихли с отъездом...»). Бывал и исправник, сделавший ему строгое «за самовольную отлучку внушение».

Оля негромким, выдающим волнение голосом рассказывает о том, как Владимир Ильич побеждал обстоятельства, как годы ссылки не коснулись его душевных сил, хотя иные «бунтари», попав сюда, сдабривали горькую жизнь изгнания алкоголем, болели психическим расстройством, отходили от активной революционной борьбы, писали покаянные письма. Ленина не сломила «страна изгнания», могучий дух его только закалился.

Вот за этим столом он написал историческую работу «Задачи русских социал-демократов», затем «Перлы народнического прожектерства», «От какого наследства мы отказываемся». Если бы знали царские прислужники, какое грозное оружие таили строки, выходившие из-под пера ссыльного Владимира Ульянова! А то ведь местный урядник, в обязанности которого входило следить за политссыльными, говорил про Ленина: «Все пишет, все пишет о чем-то. Должно, из писателей... Я уже доносил об этом г-ну исправнику не раз; как бы, дескать, ваше благородие, чего не вышло из его писаний... Пусть, говорит, пишет себе... Лишь бы буянства не чинил, или бы чего прочего. А это ничего».

Экскурсия переходит в другой дом, где Ленин поселился с приездом Надежды Константиновны и ее матери. Здесь та же простая обстановка, тот же дух собранности и целеустремленности. Из мебели, если можно так сказать, в глаза бросается конторка и заполненный книжный стеллаж. Книгами пользовался Ильич. «Теперь Володя ушел уже решительно и окончательно в свои «рынки», жадничает на время страшно... Сегодня ночью во сне толковал что-то о г-не Н.-оне и натуральном хозяйстве...», — писала Н. К. Крупская сестре Владимира Ильича Анне Ильиничне. «Рынки» — это книга «Развитие капитализма в России», основная из 30 работ, написанных Лениным в ссылке. В ней он упоминает четыреста различных литературных источников, некоторые из них и поныне стоят на полках рядом с конторкой.

Находясь за тысячи верст от центров рабочего движения, Владимир Ильич «видел то, что временем сокрыто». Главный вывод книги «Раз-

витие капитализма в России», изданной в России еще до отъезда ее автора из Шушенского, звучал твердо — великая пролетарская революция не за горами!

Растекается в сумерках день. Поток экскурсантов стихает. Уходят домой работники Дома-музея. А на столе в прихожей до утра остается лежать раскрытая тетрадь...

«Из южного города Херсона заехал специально, сделав круг, чтобы повидать место ссылки Ильича. Сердечно благодарю шушенцев за то, что они сохраняют все эти простые, скромные вещи... *Врач Л. Ворницын*».

«Мы с большим чувством волнения посетили дом, где В. И. Ленин провел годы своей ссылки и где он подготовил события, которые изменили мировую историю. *Пьер Куртад, спец. корр. «Юманите»*.

«Умение мириться с необходимостью, невероятная работоспособность, глубокие знания 27-летнего человека—лучший пример для подражания. *Инженер М. из Киселевска*».

«Ленина любим. Ленина помним. Так будет всегда! *Волынкин (Красноярск)*».

«Мы клянемся продолжать его дело. *Студенты Московского института международных отношений Пивоваров и Гребенщиков*».

ЖИВЫЕ ПАМЯТНИКИ

Шушенское называют разно: в одном случае селом, в другом — поселком, в третьем — городом. И все верно.

Село — это то, что было прежде. Навоз — полбеды. Беда в том, что его даже на поля не вывозили. Считали, видимо, что незачем. Зато тут как тут были церковь, кабак, да не один, купеческие лавки. Школа? Была. Три десятка ребят плюс учитель. Фельдшер, не говоря уже о враче, за шестьдесят верст. Вся Шу-шу-шу с волостью читала семь экземпляров газет...

Поселок — это сегодня. Там, где лежал навоз, залит асфальт. И шушенцы сейчас занимаются тем же, что и их деды, но на неизмеримо высшем уровне, неспроста ведь в поселке свой сельскохозяйственный техникум, ученые агрономы и агрохимики оттуда выходят. Есть две средние школы, одна начальная, детская музыкальная школа — всего три тысячи учащихся и более ста учителей. До Красноярска за полтысячи километров, но с Красноярском можете поговорить сию же минуту. Радио (об электричестве особый разговор). Современные медицинские учреждения. Шесть библиотек. Десять тысяч экземпляров га-

зет и журналов... И разве не повторишь в который раз слова бывшего шушенского ссыльного В. И. Ульянова: «Все как быть следует...»

Город — это то, что сегодня рождается.

Владимир Ильич уезжал из Шушенского 29 января 1900 года. В этот день заканчивался срок его ссылки. Он уезжал рано утром, не задерживаясь ни на один час. «Ехали на лошадях 300 верст по Енисею, — вспоминает Надежда Константиновна, — день и ночь, благо луна светила вовсю... Владимир Ильич — он ехал без дохи, уверяя, что ему жарко в дохе, — засунув руки во взятую у мамы муфту, уносился мыслью в Россию, где можно будет поработать вволю».

В государственном архиве Иркутской области хранится несколько интересных документов, относящихся к окончанию сибирской ссылки В. И. Ленина. Среди них секретная директива губернского управления: «...Окончившим срок гласного надзора ниже поименованным лицам воспрещается проживать в гг. Иркутске и Красноярске с их уездами сроком на три года, т. е. по 29 января 1903 года». На обороте список этих лиц — Г. М. Кржижановский, В. М. Старков, В. И. Ульянов, П. Н. Лепешинский и другие.

Тут же подшит потрясающий своей верноподданнической тупостью документ. В левом углу его стоит самодельный штамп: «М. В. Д. Полицейский надзиратель с. Александровского, № 182, марта 6 дня 1900. Секретно.

Господину Иркутскому уездному исправнику.

Имею честь доложить, ваше высокопревосходительство, на предписание от 10 февраля, что окончившие срок гласного надзора (такие-то, такие-то) в с. Александровское не проживают и что за появлением их имеется наблюдение...»

Сибирское трехлетие — это большая веха на жизненном пути Ильича, в истории нашей партии. Глеб Максимильянович Кржижановский, деливший с Лениным тяготы ссылки, вспоминал: «Была морозная лунная ночь, и перед нами искрился бесконечный саван сибирских снегов. Владимир Ильич вдохновенно рассказывал мне о своих планах и предположениях по возвращению в Россию. Организация печатного партийного органа... и создание партии при помощи этого центрального органа...»

Немало событий в мире пронеслось после той ночи на Енисее. Была создана Коммунистическая партия, потряс вселенную Октябрь 1917 года, утвердился социализм на значительной территории земного шара. Пришла новая жизнь и в старое сибирское село. Пришла нелегко, в ожесточенной классовой борьбе, но пришла неминуемо, как это предсказал шушенский ссыльный поселенец.

Невдалеке от Дома-музея В. И. Ленина в скромной железной ограде стоит обелиск. Мраморная дощечка в скупых словах напоминает проходящим имена тех, кто не дожил до сегодняшних светлых дней, погибнув от руки классовых врагов. Это Гавриил Петрович Парщиков, красный партизан, подвергшийся жестоким пыткам белогвардейцев, комсомольцы Кузьма Козин и Михаил Воронецкий, убитые кулаками в период коллективизации.

По многим причинам шушенские крестьяне о том, что тот «с высоким лбом и ясными глазами» человек есть сам Ленин, узнали лишь двадцать с лишним лет спустя. А когда узнали, то послали ему телеграмму:

«Торжественное собрание просит Вас не отказать в принятии почетного членства Шушенской комячейки сельсовета. В ознаменование великого торжества, дня рождения уважаемого вождя мирового пролетариата, пролетарское заседание преподносит Вам, Владимир Ильич, именной подарок в виде засева хлеба силами крестьян Шушенской волости в количестве пятидесяти десятин, урожай которых будет адресован в пользу голодающих детей Поволжья».

О подарках Ильичу рассказывал мне один из старожилов села, 76-летний Егор Федорович Черкашин:

— Помню, говорили мы тогда друг дружке: «Пойдем на пирог Ленину зарабатывать...» И шли — кто в поле, кто на Енисей рыбу промышлять. На подарок вождю...

Когда Владимир Ильич был жив, это звалось подарком, теперь — памятником.

О живом памятнике Ленину в Шушенском думать начали в год кончины его. В июне 1924 года на сельском сходе крестьянин Ионикий Иванович Заверткин, «поручитель» Ильича при венчании его с Надеждой Константиновной Крупской, предложил построить в память ему сельскохозяйственный техникум. И построили. Это благодаря стараниям выпускников техникума, носящего имена Ленина и Крупской, и преобразилась земля вокруг Шушенского.

А сегодня всюду в поселке можно увидеть плакаты и лозунги: «Построим город-памятник!», «Городу-памятнику быть!»

Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по развитию и благоустройству поселка Шушенского и других памятных мест, связанных с пребыванием В. И. Ленина в сибирской ссылке». К 100-летию со дня рождения вождя первого в мире социалистического государства намечено построить 30 тысяч квадратных метров жилья, восьмиэтажную гостиницу, Дом культуры на тысячу с лишним мест, здание профтехучилища для работников

сферы обслуживания, библиотеку на 400 тысяч томов, две школы на 960 мест, водопровод, торговый центр.

Это только то, что будет сделано в оставшееся до юбилея время. В целом же город вырастет до 50—60 тысяч жителей. В нем не будет больших заводов, намечено ограничиться фабрикой сувениров, современными предприятиями быта и общественного питания. Зато станет город одним из ведущих центров туризма в Сибири. С вводом в эксплуатацию судоподъемника Красноярской ГЭС поток туристов устремится по тому пути, по которому ехал в ссылку Ильич. А строительство автодороги до Саянской ГЭС свяжет единым маршрутом все места, связанные с его пребыванием в Сибири.

Создавать живой памятник Ленину на Енисее едет молодежь со всех концов страны. Стройка объявлена всесоюзной ударной комсомольской, создан специальный строительный трест Шушспецстрой. Особенно много приезжает демобилизованных воинов и студентов. Строительные отряды московских архитектурного института и института народного хозяйства, Харьковского политехнического института летом буквально оседлали окрестности поселка. Мы побывали в гостях у ребят из Харькова. Командир и комиссар студенческого отряда рассказали, что их институт носит имя Ленина, награжден орденом Ленина, и потому им просто совесть не позволяет терять из виду строительство в сибирском селе-городе памятника Ильичу. Приезжали они раньше, приезжать будут и впредь. Это они вели нулевые циклы автовокзала, промсклада, хлебозавода. Освоение за неполных два месяца немалое — 160 тысяч рублей.

Хорошую память о себе оставили учащиеся Иркутского сельскохозяйственного техникума. Они проходили здесь практику — помогали расширять, благоустраивать местный техникум. Скоро в Шушенском разместятся два института, строится обсерватория Института географии Сибири и Дальнего Востока АН СССР.

И еще одна из многочисленных шушенских встреч. Константин Моисеевич Губельман давал интервью прямо в номере гостиницы. Племянник Е. Ярославского Константин Моисеевич по образованию архитектор, специалист по деревянному зодчеству — автор реконструкции Кижей, но, как он сказал, «в Кижах работы на много-много лет, а здесь каждый день на учете...» Вместе с директором Центральных научно-реставрационных мастерских Л. А. Петровым ему было поручено создать проект мемориальной зоны «Сибирская ссылка В. И. Ленина».

Создание мемориального комплекса в Шушенском предусмотрено тем же постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Он займет территорию в 6,6 гектара в границах двух кварталов, примыкающих к Дому-музею. В его пределах восстанавливается этнографический

облик села конца XIX века со всеми надворными и хозяйственными постройками. В 33 усадьбах мемориальной зоны будут развернуты экспозиции, отражающие революционное движение в России, архитектурный и этнографический материал, дающий представление о быте и культуре крестьян дореволюционной Сибири. Та часть усадеб, в которых будут размещаться обслуга и гости, также сохранят внешний облик построек конца прошлого столетия, хотя внутри они оборудуются современными средствами.

— Наша задача, — говорит К. М. Губельман, — рядом с современным городом-садом создать абсолютную копию того Шушенского, каким оно было, когда жил здесь Ильич. Сохранившиеся два дома и окружающие их постройки как музей проходят, воспринимаются, но как ссылка — ничего общего. Время изменило крестьянский уклад, например, никому сейчас не нужны двухэтажные хлебные амбары. Зато с тех пор выросли на берегу Шуши тополя, проложен асфальт, внутри домов электропроводка, люстры, сами дома поставлены на бетонные фундаменты. Ведь всего этого при Ленине не было! Вот и приходится теперь выполнять двойную, обратную работу. Трудностей много. Прибегаем к помощи старожилов, а их рассказы часто противоречивы. Избы, построенные до 1900 года и сохранившиеся до нашего времени, можно пересчитать в Шушенском по пальцам. Приходится искать их в соседних селах — Ермаковском, Каптыреве и других. Но и найти и перевезти их — полдела. Надо учитывать, что избам этим стоять предстоит века, а потому каждый брус должен подвергнуться тщательной химической обработке. Встанут на свои места собранные из старого, но прочного материала пимокатная и кожевенная мастерские и даже волостная управа — мрачное сооружение с каталажкой во дворе, окруженной тыном из заостренных кольев. Отсюда осуществлялся за ссыльным Ульяновым «надлежащий гласный надзор полиции....»

...«Ракета», мягко оттолкнувшись от песчаного берега, вырывается на енисейский простор. Где-то у этих берегов любил поохотиться Владимир Ильич, они были излюбленным местом его прогулок. Отсюда он пришел однажды домой и написал сестре Марии Ильиничне: «Горы.... на них можно только глядеть, когда облака не закрывают их... точь-в-точь как из Женевы можно глядеть на Монблан».

Мы едем навстречу Енисею, на юг, туда, где сибиряки возводят еще один памятник Ильичу — Саянскую ГЭС. Медленно преодолевая силу могучего течения, судно через три часа оказывается близ «Монблана». Близ потому, что к месту строительства гидростанции — Карлову створу плыть из-за теснин и порогов небезопасно.

Конечный пункт пассажирского сообщения на верхнем Енисее —

поселок Майна. Еще в 1730 году сюда пришли первые русские поселенцы. Их привлекло богатое месторождение медных колчеданов. В наше время рудокопов здесь и в помине не осталось, зато славу поселку принесли строители Саянской ГЭС.

Короткий рассказ начальника отдела дирекции строящейся гидростанции Вячеслава Сергеевича Гришина:

— Наша ГЭС не будет знать равных в мире — десять турбин мощностью каждая почти 700 тысяч киловатт! Она встанет в узкой, но высокой теснине Енисея, высота плотины феноменальная — 220 метров. И еще одна особенность станции. Так как в ближайшие годы прямых потребителей у нее не предвидится, то, включившись в энергосистему «Мир», она будет закрывать ее пиковые нагрузки. Другими словами, большую часть суток ГЭС будет стоять, набирая в водохранилище запасы воды, и только несколько часов ее агрегаты будут работать, давая огромную мощность....

Несказанно дик и живописен Енисей в Саянах.

Ильич ходил сюда из Шуши?
Не знаю, может, и ходил.
Да, может, забредал когда-то
Сюда с охотничьим ружьем...
Но где же, где же эта дата,
Найдем ее иль не найдем?
А если нет? Не все равно ли,
Бывал он здесь иль не бывал:
Он в нас самих, он в нашей воле,
Он как костер средь диких скал...

Так писал сибирский поэт Игнатий Рождественский.

Местные журналисты рассказывают, что когда в печати сообщили о начале работ в районе будущей ГЭС, письма пошли косяками и большинство... на деревню дедушке. Например, писали так: «Иркутская область, г. Абакан, Саянская ГЭС...»

Большинство строителей Саянской гидростанции — дивногорцы. Эстафета, начатая в Иркутске, продолжается. Когда в Саянах шла отсыпка верхней перемычки, в кабине головной машины рядом с водителем сидел Леонид Назимко, о котором рассказывают легенды. Ведь ему посчастливилось сбросить первую глыбу при перекрытии Ангары у Иркутска, Енисея у Дивных гор. И вот теперь Назимко сбросил в Карловом створе осколок дивногорского диабаза со словами: «Покорись, Енисей!»

Памятники Ильичу... Живые, овеществленные. Их много. Самый большой — все наше социалистическое государство. Сибирь, где был в царской ссылке В. И. Ленин, — чуть поменьше.

Осенью нынешнего года в Монгольской Народной Республике широко отмечалось тридцатилетие победы совместных советско-монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В состав делегации советских писателей, участвовавшей в празднествах и возглавляемой известным поэтом, прозаиком, драматургом Константином Симоновым, входили и наши земляки— Георгий Граубин и Марк Сергеев. Затем в Советский Союз с ответным визитом прибыла большая группа монгольских писателей во главе с секретарем Союза писателей Монголии Далантайном Тарва. Гости побывали в Иркутске, Братске, Хабаровске и Хабаровском крае, в Приморье, на острове Даманском, в Чите и в Бурятии. В этом путешествии их сопровождали москвичи Агей Гатов и Геннадий Васин и сибиряки Марк Сергеев и Ростислав Филиппов.

Ниже мы публикуем стихи наших гостей в переводе советских поэтов.

ДОЛГОРЫН НЯМАА

Молодой поэт, автор вышедшего в 1965 г. в Улан-Баторе сборника «Горизонт». Д. Нямаа получил высшее образование в Москве, в Литературном институте имени М. Горького. Его лирические стихи-раздумья часто появляются на страницах периодических изданий МНР.

ВЕСНА

Весна моя! Моя весна!
В чем ты, весна, воплощена?
Влилась ты в молодой росток,
В ручей, в бушующий поток?
Или под снегом алым ты,
Иль солнцем светишь с высоты?
Весна моя! Моя весна!
Везде видна, во всем слышна!
Сорву подснежник под окном —
Скажи, твоя ли нежность в нем?
Тук-тук — сердечко малыша·
Твоя ль таится в нем душа?
Не ты ль глядишь из-под стрехи?
Не прячешься ль в мои стихи?
С тобой, весна, мои мечты.
Смотрю вокруг — и всюду ты.

° ° °

Поезд спешит, прибавляет ход.
Поезд спешит туда, где восход.
Сквозь стекла доступная взору
земля —
Равнины и реки, леса и поля —
Отодвигается плавно назад.
И солнце туда же уйдет на закат,
Туда поплывут,
лишь окончится день, —
Мерцая,
огни городов, деревень.
На запад стремится их встречный
поток.

Один только я спешу на восток,
И родина мчится навстречу мне,
Река серебрится навстречу мне,
Долины и горы — навстречу мне,
Степные просторы — навстречу мне.
Знакомые зданья,
Подъемные краны...
Вон всадник с арканом,
Вон юрты, барханы
Бегут торопливо
Навстречу мне.
И вот я, счастливый,
В родной стороне.

Перевел **Г. Ярославцев.**

ОТЕЦ И ВОЙНА

Из дома отца увела война.
Отец от дома увел войну.
Отца на фронте убила война,
но и отец убил войну.

Перевел **Агей Гатов.**

ДЕРЕВЬЯ ШЕПЧУТСЯ

Деревья шепчутся, звеня,
на цыпочки встают,
а два оседланных коня
своих хозяев ждут.

И, летний час благословив,
в зеленом далеке
поет кукушка о любви
на птичьем языке.

И, вырываясь из хвои,
летя над черным дном,
река рокочет о любви
на языке речном.

В густом лесу на склоне дня
все суд да пересуд.
А два оседланных коня
своих хозяев ждут.

Перевел **Марк Сергеев.**

ДЭНДЭВИЙН ПУРЭВДОРЖ

За плечами у поэта большой трудовой путь: работал школьным учителем, ответственным секретарем сатирического журнала, заведующим литературной частью театра. Опубликовал ряд поэтических книг. В 1965 году Д. Пурэвдорж окончил в Москве Литературный институт им. А. М. Горького. Ныне поэт руководит секцией поэзии в Союзе монгольских писателей. Его стихи и поэмы воспевают героику нынешних будней, воскрешают страницы исторического прошлого Монголии: энергично звучит в них интернациональная тема. Произведения поэта неоднократно появлялись в советских журналах и поэтических сборниках.

ЭДЕЛЬВЕЙС

Говорят, эдельвейс —
Это нежной любви цветок,
Говорят, эдельвейс —
Это памяти долгой залог.
Если рослому парню,
Что живет у отрогов
Карпат,
Дорог взгляд
благодарный,
Хрупкой, тоненькой
девушки взгляд,—
Много дней по утрам
Будет парень бродить
по горам
И найдет эдельвейс,
И заслужит любовь,
говорят.
Зажигает огнем
Эдельвейс молодые сердца,
Чтоб горели потом
Всю-то долгую жизнь
без конца.
А в монгольских степях
Эдельвейс огнецветом
зовут.

В очаге на камнях
Эдельвейс разжигали, как трут.
Здесь он всюду растет,
И в моем очаге он
пылал...
Встарь монгольский народ
Огнецвет
цветом жизни назвал.

Перевел **Г. Ярославцев.**

СИБИРЬ

Колеса на стыках стучат, стучат.
Мелькают деревья, бегут назад.
Бескрайняя ширь.
Страна-богатырь —
Сибирь, Сибирь, Сибирь.
Мчимся на запад мы лентой стальной,
И остается восток за спиной.
Сбегающий с гор
Темнеющий бор,
Простор, простор, простор.
Поет на разъезде чья-то гармонь,
Дружески машет чья-то ладонь.
Ночи и дни
В таежной тени
Огни, огни, огни.
Отступит, раздвинется море-тайга
И город вместит в свои берега.
Громко звучат
Песни девчат,
Как под фатою, березы стоят.
Сибирь — океан необъятно большой,
Сравнить его можно лишь с русской
душой.
Бескрайняя ширь,
Страна-богатырь —
Сибирь, Сибирь, Сибирь.

Перевел **Г. Ярославцев.**

ДАЛАНТАЙН ТАРВА

Еще подростком ушел будущий поэт в Народную Армию, участвовал в боях у Халхин-Гола и в 1940 году написал свое первое стихотворение — «Мы победим», ставшее вскоре словами популярной песни. Его песни о родине, о боевой дружбе, о победах Советской Армии вошли в два авторских сборника — «За родину» (1947) и «Песни» (1949).

Д. Тарва — искренний друг советских людей. Его «Поэма», навеянная посещением Пискаревского кладбища в Ленинграде, — достойное подтверждение этой дружбы. Произведение отмечено литературной премией Союза монгольских писателей за 1966 год.

ПУСТЬ НЕБО ВСЕГДА БУДЕТ ЯСНЫМ

Из поэмы, навеянной посещением Пискаревского кладбища

На каком обелиске
эти цифры кровавые высечь?
Здесь лежит под землей их —
шестьсот пятьдесят
тысяч,
Здесь лежат под землей они,
словно братья,
Город-герой,
как отец,
заключил их в объятья.
Живые
с цветами идут вдоль могил—
все безмолвны.
Могилы
рядами тянутся вдаль,
как застывшие волны.
О тайне,
сокрытой в них, —
ни звука, ни слова.
У тех,
кто прошел сюда,
лица суровы.
Головы
клонятся ниже,
шаги все глуше.

У тех, кто
пришел сюда,
скорбные души.
. . . .
Сколько месяцев,
кто сочтет,
в девятистах днях?

Город врагом был окружен
девятьсот дней.
Мужество этих людей
город спасло,
И перед ним
ныне весь мир
склоняет чело.

Перевел **А. Найман.**

БЕГЗИЙН ЯВУУХУЛАН

В творчестве поэта, оказавшем влияние на развитие монгольской лирики 60-х годов, органично слились голос поэта-гражданина и поэта-лирика.

В 1959 году поэт окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве, а в 1960 году в той же Москве был опубликован сборник его стихотворений — «Лирика». В Монголии вышло несколько поэтических сборников поэта. «Камыши на озере Хар-Ус» (1965) — итог поэтического труда за двадцать лет. В 1967 году Б. Явуухулану присуждена государственная премия МНР.

НОЧЬ В СТЕПИ

Вечер. В степь я вышел дотемна,
Ждал тебя, любимую, покорно...
Закатилась ясная луна
На ночевку за вершиной горной.
Ждал тебя до полной темноты.
Засветилось небо сыпью звездной.
К шорохам прислушивался... Ты!
Нет, не ты... Шло время.
Было поздно.
Небосвод вращался надо мной,
И заря вставала на востоке,
Разумом не ждал я, ждал душой,
Подавляя горькие упреки.
Ждал тебя, но — встретил я рассвет:
Побледнели звезды и пропали,
А тебя, любимая, все нет...
На траву огнями росы пали.
Выкатилась из-за гор луна,
Повстречалась с солнцем,
верным другом.
«Почему же не пришла она?» —
Шепчут губы с грустью и испугом.

Перевел **Г. Ярославцев.**

КАМЫШИ НА ОЗЕРЕ ХАР-УС

Камышей на озере Хар-Ус
Осенью печален свист и хруст.
Как-то по-особому грустишь,
Оттого что клонится камыш...
Охватить не может сразу взор
Голубого озера простор.
Нагота горы Глухонемой
Занавешена суровой мглой.
Ветра злого налетел порыв,
Гладь воды изрезав, исчертив.
Камыши колышутся, шурша,
И грустишь от шума камыша.
Осень наступила — оттого
Горы спят и все вокруг мертво.
Разве птиц, что скоро улетят,
Озеро не будет ждать назад?
Камышей на озере Хар-ус
Осенью печален свист и хруст.
Как-то по-особому грустишь,
Оттого что клонится камыш...

Перевел **Н. Стефанович.**

ЛХАМСУРЭНГИЙН ЧОЙЖИЛСУРЭН

Л. Чойжилсурэн — ответственный секретарь газеты «Утга зохиол урдаг» («Литература и искусство»), автор романа «Роса на траве» (1963) и новой книги стихов «Свет далекой звезды» (1967). На русском языке опубликованы отдельные стихи поэта.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Отрывок

Здесь под стеной кремлевской,
зубчатой, —
Безвестный прах советского солдата.
И отблеск свой бросает на гранит
Огонь, что никогда не догорит.
В земле родной покоится солдат,
Что был в бою и не пришел назад.
Теперь он славы вечной удостоен,
Отчизны сын, присяге верный воин.
Все кровное с ним чувствуют родство,
Хотя не знают имени его.
Был грозен бой, свирепа и страшна
Была четырехлетняя война.
Он был из тех, кто долг исполнил
свой,
Он был из невернувшихся домой.
Какое здесь на камне имя высечь?
Он был один из многих сотен тысяч,
Для Родины — один из сыновей,
Теперь он спит в родной земле своей.
Здесь каждый приходящий
молчалив,
Шаг замедляет, голову склонив,
Чтоб утолить пред этим обелиском
Печаль свою о ком-то самом близком.
Не счесть погибших. Страшною ценой
От гибели спасен был мир земной.
Страна воскресла, силы обновя, —
Но ведь не все вернулись сыновья...
Безвестный здесь покоится солдат,
Но с ним герои многие лежат.
Здесь как бы все представлены
одним,
И потому огонь неугасим.
И пусть народ не знает их имен, —
В граните подвиг каждый воплощен.
Солдат в земле покоится, храня
Неугасимость вечного огня.

Перевел **Н. Стефанович.**

Л. БОГДАНОВ



„ЖИВИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗА МЕНЯ..."

Документальная повесть

Задание

В кабинет генерала вошел старик, даже при беглом взгляде на которого было видно, что он очень следит за своей внешностью и стремится скрыть разрушительные следы времени. Жиденькие волосы старательно прикрывали огромные залысины, борода и усы аккуратно подстрижены. Темный костюм подчеркивал спортивный склад фигуры, что в таком возрасте дается обычно нелегко.

Генерал поднялся навстречу, критическим взглядом окинул вошедшего с головы до ног и, улыбаясь, пошел навстречу.

— Очень неплохо, — сказал он, крепко пожимая старику руку. — Типичный старый холостяк из хорошей фамилии.

— Мы — Крюги — еще в восемнадцатом веке были известными поставщиками мебели, — с гордостью заметил тот и вдруг по-молодому озорно блеснул глазами.

Оба рассмеялись.

— С восемнадцатого говоришь!!

— Так точно: с восемнадцатого. Еще при Ракоци Втором.

— Вижу, легенду усвоил. Вжился, как мы говорим, — сквозь смех сказал генерал, но сразу же посерьезнел.

— Перейдем к самому главному...

Они подошли к стене, закрытой длинными шторами. Генерал взял в руки указку и ею раздвинул их. Появилась огромная во всю стену карта Европы с жирной красной линией фронта почти от потолка до пола.

— Твою группу на самолете доставят вот сюда, — указка в руках генерала прочертила путь от Москвы на юго-запад, через линию фронта, и остановилась на Закарпатье. — На первых порах здесь будет твоя база. В составе группы есть местные жители, они во многом помогут. Но не увлекайся партизанскими формами борьбы. Помни: ты — разведчик. Это — главное...

Генерал сделал многозначительную паузу.

— Конечно, Закарпатье — это только трамплин для дальнейшего твоего проникновения на Запад, — продолжал он. — Нас интересуют сателлиты Германии — Венгрия, Румыния, Чехословакия. Их экономический потенциал, военные объекты, формирования, отправляемые на Восточный фронт, настроения солдат и офицеров, различных групп населения. Отношение их к немцам. Объективная характеристика нынешних политических деятелей. Наличие оппозиции, ее руководители... Как видишь, круг вопросов, по которым необходима твоя информация, очень широк. Ты получишь не-

сколько явок. К сожалению, я не могу поручиться за их надежность. У нас давно нет связи. Возможно, тебе придется начинать на голом месте. Будь осторожен.

— Семь раз отмерь, а потом отрежь. Ты это хочешь сказать?

— У тебя не всегда будет возможность отмерять семь раз. Иногда придется решать моментально. И всякий раз это будет риск, — задумчиво произнес генерал. — В нашем деле без него нельзя.

Они молча закурили. Потом генерал жестом пригласил старика сесть, а сам открыл сейф и достал несколько папок.

— Это личные дела членов твоей группы. Знакомься. Вот «Украинец». Настоящее его имя Михаил Дякун. Первоклассный радист. Твоя правая рука... А это — Стефан, то бишь Степан Чижмарь...

— Чижмарь? Он сапожник?

— Не-ет... А ты почему об этом спрашиваешь?

— Просто так. Вспомнил, что «чижмарь» по-венгерски означает сапог.

— Хм... Не знал. Ну, может, и был в его роде кто-нибудь сапожником. А в общем-то «Стефан» революционер-профессионал. Воевал в Испании. Сидел в разных тюрьмах. Хоть и моложе нас с тобой, а закалка не хуже... Это брат его — Василий. Боевой парень, но выдержки не хватает. Так что придерживай его... Вот «Андрей»: По национальности чех, подпрапорщик. Зовут Вацлав Цемпер. Лучше всего направь его сразу на родину. В помощь ему придай Степана Лизанца — «Сеню» — второго радиста... Ну, а вот последний член твоей группы — Иван Ловга; опытный коммунист-подпольщик. Семья в Закарпатье. Старые связи есть. Думаю, ценным разведчиком будет...

Долго еще сидели они вдвоем, обсуждали детали заброски группы в тыл врага, варианты на случай какой-либо неудачи, договариваясь о времени связи, о шифре и о многом другом.

Наконец все вопросы были решены. Оба встали.

— Федор Владимирович Крюг имеет честь откланяться, — сказал старик.

— Ну, это для всех других ты теперь бывший мебельный фабрикант Крюг, а для меня был и остаешься Ференцем Патаки, — растроганно ответил генерал. — Многих я «туда» провожал, а вот никак привыкнуть не могу, волнуюсь. Тебя особенно трудно провожать. Ты — частица моей юности.

— Стареешь, мой генерал.

— Да уж, конечно, не молодею.

— Вот и становишься сентиментальным.

— А все равно, как это называется! До встречи, старина, в освобожденном Будапеште!

Рассказ дочери Ирины

Мой отец — Ференц Патаки — родился в 1892 году в курортном городке Австро-Венгрии с громким названием Геркулес-Фюрдэ. Нынче это Бэйле-Еркулане в румынской области Банат, граничащей с Венгрией и Югославией. В этом городке было калейдоскопическое смешение национальностей и языков. Даже в семье отца в обиходе был не только официальный немецкий язык, но и венгерский, и сербский. Мой дед по отцовской линии был венгром или, как тогда говорили, мадьяром, а бабушка — сербка. Наверное, все это развило лингвистические способности отца. Он знал одиннадцать европейских языков.

С детства познакомился отец с мебельным производством. Дед был хорошим столяром-краснодеревщиком, а бабушка работала кухаркой и экономкой в богатых семьях. Оба они рано умерли, и до четырнадцати лет отца воспитывали в сиротском приюте в городе Тимишоаре. Он проявил недюжинные способности в учебе и поэтому за счет «общества» был определен в местный учительский институт. И здесь наука давалась ему необыкновенно легко, но из-за излишней пытливости и смелости он чуть было не лишился аттестата. Перед самыми экзаменами его исключили из учительского института за скептицизм по отношению к религии, за отказ посещать церковь и уроки вероучения. Дело это получило широкую огласку. За способного сироту вступилась прогрессивная интеллигенция. И клерикалы вынуждены были отступить. Инцидент был заглажен: отцу не только разрешили сдавать экзамены, но даже послали в Будапешт для продолжения образования.

Я ни разу не была в Будапеште. Почти всю жизнь провела в Москве и считаю себя коренной москвичкой. Но всякий раз, когда попадает мне фотография Будапешта, испытываю невольное волнение. Ведь в этом свободолюбивом городе жил мой отец: утром слушал лекции в университете, днем отправлялся на заработки. Работая в различных частных мастерских, приобщился он к пролетариату Будапешта, к его революционным традициям. Был участником начинавшихся стачек и демонстраций за жизнь, достойную человека, за политические права. Хотя не принадлежал тогда ни к какой партии, еще не выбрал свою дорогу.

В конце 1913 года отца призвали в армию и направили на учебу в офицерскую школу. Когда началась первая империалистическая война, ему спешно присвоили первый офицерский чин и в составе 23-й гонведской дивизии отправили на фронт. А через год, когда крепость Перемышль сдалась русским войскам, он оказался в плену. Находился в лагерях военнопленных сначала на Волге, потом в Сибири.

Прощай, Москва!

Перед самым вылетом Патаки вспомнил о бритве. Она была старая, и он давно ею не пользовался. Но теперь она могла сослужить незаменимую службу. Быть может, даже более верную, чем его документы. Хоть и были они сделаны надежно, а все же это была «липа». Бритва же была настоящая. Он купил ее в Будапеште в 1913 году за несколько дней до того, как уйти в армию. Поэтому и клеймо фирмы,

и год выпуска — все было «всамделишное». А в той жизни, которая ему предстояла, каждая мелочь играла большую роль.

Вот и заехали они вместе со Степаном Чижмарем к Патаки на квартиру. С большим трудом разыскал он эту свою бритву. Нашел в ящике среди всяких ненужных вещей, которые давно пора было бы выбросить, но люди почему-то имеют привычку их сохранять. А выходит — это не так уж плохо!

— Думаете, что с помощью этой бритвы легче будет ходить по острию ножа! — скаламбурил Чижмарь.

— Поживем — увидим.

Уже сидя в машине, Патаки решил, что дело, пожалуй, и не в бритве. Должно быть, подсознательно придумал он это просто для того, чтобы еще раз перед отлетом «туда», в неизвестность, побывать дома. И была мысль: а вдруг... Ведь кое-кто вернулся из эвакуации, Москва уже не такая малолюдная, как тогда, зимой сорок второго, когда он прилетел из Ташкента.

Но дома все было так, как и прежде: пусто. Только пыли прибавилось. Она лежала густым слоем на столах, на стульях, на полу. Он не удержался и пальцем вывел на стекле письменного стола: «17 августа 1943 года». И расписался.

Теперь на «эмке» разведуправления они спешили на аэродром в Быково, где ждали их остальные товарищи. Ехали почти через весь город.

— Сколько раз я мечтал побывать в Москве, — задумчиво произнес Чижмарь, — но никак не думал, что доведется увидеть ее вот такой: с бумажными крестами на окнах, с патрулями на улицах, с аэростатами противовоздушной обороны над домами...

— Что поделаешь: война!

— Понятно. Да только сердцу от этого не легче.

— А сердца наши давно кровоточат, Степан. С тех пор как фашизм занес над Европой свой сапог. Сколько друзей, товарищей погибло...

В это время они как раз проскочили мимо бывшего Театра Революции. Как знакомо и дорого ему это здание!

Патаки вспомнил конец 20-х годов. Однажды Юля привела его сюда и познакомила с соотечественником. Он был директором этого театра. У него были улыбчивые глаза, а на груди военного кителя алел орден Красного Знамени... Как он встретил их! Как рад был Юлии! После разгрома колчаковщины они вместе служили в первой Интернациональной дивизии. Юля радостно говорила: «Ты знаешь, что это за человек!! Настоящая легенда. Ходит о нем, конечно, и много небылиц; но он в самом деле очень отчаянный человек». И уже смеясь: «Тебя не было, так он за мной ухаживал»...

Звали этого человека Матэ Залка.

У Матэ была удивительная способность располагать к себе. Через несколько минут они уже были на «ты» и знали друг о друге почти все. Сколько раз потом он сидел в директорской ложе, в которую набивались венгры со всей Москвы! Да разве только из Москвы! Пожалуй, со всей страны. Эта театральная ложа стала вроде филиала их землячества...

Патаки спросил Чижмаря, слышал ли он что-нибудь о генерале Лукаче, когда был в Испании.

— Кто ж из интернационалистов не слышал о нем!! — откликнулся Степан. — Я воевал в бригаде Домбровского, она вошла в дивизию, которой командовал генерал Лукач. Если бы не его смерть, разве так все получилось бы под Уэской!

Патаки чуть-чуть не сказал о том, что генерал Лукач был его другом, но вовремя осекся. Собственно, он ведь не знал генерала Лукача. Только после его смерти, из газет, он узнал, что так звали в Испании его друга Матэ Залку. Поэтому он промолчал.

Машина то задерживалась на перекрестках, то стремительно рвалась вперед, проносясь по знакомым Патаки улицам, мимо зданий, с которыми были связаны его воспоминания.

...Лет тринадцать — четырнадцать назад они, интернационалисты, торжественно отмечали первое десятилетие венгерской Красной Армии. С кем он тогда только не встретился! Вместе с ним сидели Эдмунд Радо, Деже Фрид, Бела Иллеш, Шандор Сиклаи. А за столом президиума были Ференц Мюнних, Лайош Гавро, Ференц Янчик, его друг Матэ Залка. Не было только Бела Куна, он болел и прислал письменное приветствие. Его зачитал длинный худой Мюнних, недавно вернувшийся из немецкой тюрьмы. А какой восторг вызвала коротенькая телеграмма наркома Ворошилова! Четко вспомнились ее слова: «Во всем мире что есть честного в рабочем классе и трудящемся крестьянстве было и есть с вами. Будьте тверды. Окончательная победа будет на вашей стороне».

Где теперь его друзья, с которыми вместе боролся и трудился! Одних уже не стало, судьба других ему неизвестна. Но он уверен: те, кто жив, тверды. Они нашли свое место в битве с фашизмом, а теперь и он, наконец, сможет, как говорят, внести свою лепту...

Машина выкатилась на окраину и побежала по шоссе на Быково, мимо дачных поселков с разноцветными деревянными домиками.

— Вот и прощай, Москва! — вслух сказал Чижмарь. — Но я еще приеду к тебе. Обязательно. Вот бы с вами, Федор Владимирович, встретиться как-нибудь после войны на Красной площади. Здорово было бы!

— А мы возьмем да и встретимся, — бодро ответил Патаки. — И не будем тогда называть друг друга чужими именами, будут у нас свои.

В августе сорок третьего, после только что успешно завершившегося гигантского сражения у Курска и Белгорода, уже взошла заря нашей победы. Но никто, пожалуй, не думал, что шагать до нее еще долгих шестьсот дней. Не думал этого и Ференц Патаки.

Все же на душе стало немного грустно: всегда нелегко отрываться от чего-либо близкого, дорогого. А Москва была как бы синонимом всей страны, которая стала для него больше чем «вторая родина».

— Прощай же, Москва! Прощай!

Рассказ интернационалиста Курта Шена

С Ференцем Патаки я встретился в Красноярском лагере для военнопленных. Но, по-видимому, прежде следует коротко рассказать, как и почему я попал туда. Ведь прежде я находился в Сретенске.

Так вот: весной 1916 года в нашем Сретенском лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа — люди умирали сотнями. Как раз в то время и приехала комиссия Международного Красного Креста во главе с венгерской графиней Хусс. Сопровождал ее представитель русского царя князь Ливен. Комиссия раздала пленным офицерам медикаменты, деньги, теплые вещи, а нам, солдатам, передала только приветы и добрые пожелания немецкого и австро-венгерского императоров. Такая несправедливость возмутила нас. Ведь офицеры и до того пользовались многими привилегиями.

Когда на площади лагеря в присутствии высоких особ началось торжественное богослужение, возмущенные солдаты стали выкрикивать: «Долой войну! Хлеба и одежды! Вернуть домой!...» В графиню Хусс и князя Ливена полетели камни и комья земли. Возбужденная толпа изгнала их из пределов лагеря.

Конечно, русские власти с помощью тех же военнопленных офицеров нашли зачинщиков «беспорядков». В их числе оказался и я. Нас отправили сначала в нерчинскую тюрьму, а спустя три месяца — в Красноярский штрафной лагерь. Содержались в нем различные нарушители «дисциплины». И те, кто потребовал увеличения порции хлеба, и те, кто не отдал честь военнопленному офицеру, и те, кто выступал против братоубийственной войны. А такие уже были.

Администрация лагеря постаралась изолировать штрафников от основной массы военнопленных. Поэтому находились мы в четырех сырых землянках, обнесенных колючей проволокой, в километре от общего лагеря, который занимал территорию бывшего Красноярского военного городка. Возле наших землянок стоял караул и даже близко никого не подпускал. Но товарищи из общего лагеря, которые были настроены против войны, нашли все же возможность установить с нами связь. Среди них и был Ференц Патаки.

Так мы встретились с ним впервые. Он и его друзья поддержали морально, помогли продуктами.

После Февральской революции нас перевели из штрафного лагеря в общий. В это времяи возник в лагере союз коммунистов-интернационалистов. Во главе его стояли немец Колхоф и венгр Патаки. Я тоже вступил в него вместе со многими другими.

Союз рос с каждым днем. Он установил тесную связь с красноярскими большевиками, которые направили к нам своего представителя — Юлию Михайловну Яновскую. Была она молоденькой и, прямо скажу, — обворожительной. Но это не мешало ей быть и очень твердой в убеждениях, принципиальной. Она хорошо знала несколько языков, в том числе немецкий, и работала секретарем нашего союза.

Когда я теперь пытаюсь вызвать ее облик в своей памяти, передо мной непременно встает образ комиссара из «Оптимистической трагедии». Вот именно такой была наша Юлия!

Общность идеалов, совместная борьба, молодость — все это сблизило Ференца и Юлию. Родилось сильное, глубокое чувство, и вскоре они стали мужем и женой. По-моему, многие из нас, друзей Ференца, втайне завидовали ему. Но мы не могли не признать, что он был достойным избранником.

Ференц был талантлив. Он хорошо, можно сказать, на профессиональном уровне рисовал. Был не лишен литературных способностей. Кстати, когда мы начали выпускать газету «Факел» на венгерском языке, он стал ее редактором и писал острые, убедительные статьи против национал-шовинизма.

Внешне Ференц тоже был привлекателен. Открытое лицо с высоким большим лбом, пышная шапка темных волос и густые, совсем черные брови, над удивительно яркими глазами. Серого цвета, они очень выделялись на смуглом лице Ференца. Взгляд их был цепок, как у охотника или моряка.

Юлия и Ференц, как говорится, по всем статьям подходили друг к другу, и мы искренне любили их. Забегая вперед, скажу, что они вместе мужественно прошли через все испытания, выпавшие на их долю во время гражданской войны в Сибири.

После Великой Октябрьской социалистической революции управление нашим лагерем перешло под контроль самих солдат, а во главе комендатуры стал большевик Вейнман.

Офицерский состав лагеря во главе с майором германской армии Эрнстом всячески пытался помешать налаживанию работы новой комендатуры. Они запугивали тюрьмой после возвращения на родину, стремились вызвать недовольство военнопленных Советской властью, играя на национальной неприязни австрийцев, венгров к туркам, чехословаков к австрийцам. Иногда на этой почве бывали даже случаи убийств.

Нашему союзу приходилось вести большую разъяснительную и организационную работу. Суток явно не хватало. Спали мало, питались кое-как, выступали на митингах до хрипоты.

В самом Красноярске было неспокойно. Поднял мятеж атаман Сотников. Правда, вооруженные отряды рабочих выбили его банду в минусинские степи, но по всему чувствовалось, что в городе зреют новые белогвардейские заговоры. Для охраны завоеваний Октября необходима была военная сила.

Началось создание Красной Армии. В один из весенних дней 1918 года в нашем лагере состоялся митинг, на котором выступил представитель красноярских большевиков Яков Ефимович Боград. Он долгие годы провел в эмиграции и поэтому говорил на прекрасном немецком языке. Одно это впечатляло. Но главное заключалось, конечно, в том, что он говорил. В своей речи Боград поставил вопрос об отношении военнопленных к войне, к русской революции, рассказал, кто такой Ленин, и объяснил, почему клевещут на него буржуазные партии не только России, но и европейских стран. Для большинства присутствующих многое из того, что говорил тогда этот необычайно умный и пламенный оратор, было настоящим откровением.

Время многое стерло в памяти. Но выступление Бограда запомнилось на всю жизнь. Он и мне, и, пожалуй, всем членам нашего союза помог понять роль Ленина в международном рабочем движении, увидеть его заслуги, как организатора партии

большевиков, как великого стратега пролетарской революции. Речь Бограда не только просвещала нас, но и мобилизовывала на борьбу за ленинские идеи, за Советскую власть, вооружала непоколебимой верой в победу дела трудящихся.

И все выступившие на митинге, в том числе Ференц Патаки и я, горячо обещали всеми силами защищать завоевания Октябрьской революции, как дело мирового пролетариата.

Правда, дипломатические представители стран Антанты старались всячески сорвать вооружение бывших военнопленных. Действительно, по условиям Брестского мирного договора это запрещалось. Что тут было делать!

Выход из создавшегося положения был все же найден. Мы решили принять советское гражданство. И первым сделал это Ференц Патаки.

Наша просьба Советом рабочих и солдатских депутатов была удовлетворена. Мы вновь получили в свои руки оружие. Только теперь не для того, чтобы драться за интересы буржуазии.

Первый небольшой отряд красноярских интернационалистов, состоящий в основном из венгров, уехал в Забайкалье сражаться против атамана Семенова. Высокую оценку их действиям дал командующий фронтом Сергей Лазо. «Хорошо дерутся интернационалисты, — признавал он. — Все они бывшие солдаты, с боевым опытом. В бою стремительны, дерутся с темпераментом. Преданы революции».

А вскоре еще одна беда свалилась на молодую страну Советов. В конце мая, спровоцированный империалистами Антанты, начался мятеж чехословацкого корпуса. Уже через три дня интернациональные части героически сражались под Мариинском, Ачинском и Канском. Однако из-за численного превосходства противника они вынуждены были отступать к Красноярску. Бои были жестокие, кровопролитные. Многие интернационалисты пали смертью храбрых. К сожалению, имена их остались неизвестны.

После поражения наших частей путь на Красноярск оказался для белочехов фактически открытым.

Тогда-то в наш отряд, который находился в резерве, прискакал командующий Марковский. И хотя Тихон Павлович был взволнован, он не терял уверенности.

— Надо задержать противника хотя бы на сутки, — говорил он Патаки.—Сумеешь! Умереть, но задержать! За это время мы поднимем рабочих, построим баррикады. Красноярска не отдадим. Главное, продержитесь хотя бы сутки.

Мы продержались. Несколько сот интернационалистов полегло у стен Красноярска, но удержать город в своих руках оказалось невозможным.

На митинге в железнодорожных мастерских какой-то белогвардеец выстрелом в упор ранил Марковского. Войска потеряли военного руководителя. Город кишел переодетыми офицерами, вот-вот мог вспыхнуть мятеж. Подавить его мы бы уже не смогли. Все резервы были израсходованы. В этих условиях президиум губисполкома принял 16 июня решение об эвакуации на пароходах вниз по Енисею.

Наш отряд последним покидал Красноярск. На катере «Стрела» увозили мы и раненого Марковского.

В Енисейске часть товарищей ушла в тайгу, чтобы продолжить борьбу в партизан-

ских отрядах. Остальные решили воспользоваться путем, проложенным полтора десятка лет назад Ф. Нансеном: спуститься на пароходах к устью Енисея, выйти в Ледовитый океан и идти в Архангельск. Мы не знали, что там уже высадились англичане.

В районе Туруханска флотилия причалила к берегу, чтобы запастись дровами. Дисциплина была не ахти какой. О бдительности и говорить не приходится. Ни боевого охранения не выставили, ни постов, ни часовых.

А. между тем, белогвардейцы организовали погоню. Им удалось незаметно подойти почти вплотную к нашим пароходам. Они ударили прямой наводкой из орудий, обстреляли из пулеметов и — не встретили организованного сопротивления. В течение нескольких минут все было кончено. Одни погибли в этом коротком бою, другие были взяты в плен. Кое-кого белогвардейцы расстреляли на месте. Так погиб руководитель ачинских интернационалистов Ференц Киш. Остальных загнали в трюмы и повезли на расправу в Красноярск.

Прыжок

Патаки и Чижмарь приехали на аэродром в сумерки и как раз успели на ужин. Сопровождавший группу майор отвел всех в фанерную столовую для летчиков.

— Легкое сооружение, — заметил Сеня Лизанец. — Наверное, и кормят соответственно.

Кормили в столовой плотно. Дали по миске гречневой каши с большим куском колбасы и по алюминиевой кружке компота. По тем временам это было роскошно, но ели все вяло, нехотя.

— Ну, я вас покину, узнаю, какую погоду обещают синоптики, — сказал майор. — А вы ешьте хорошенько. В самолете протрясет, да и когда еще будете иметь возможность горячего перехватить...

Майор ушел. По-прежнему все балагурят и внешне, вроде, ничего не изменилось. Но все же Патаки видит, как резче обозначились скулы Степана Чижмаря, что-то нарочитое появилось в смехе Лизанца, возбужденнее начали раздуваться ноздри у Цемпера. Собственно, для них уже нет прошлого и настоящего, сиюминутного. Все они живут недалеким будущим, думают о нем, но только стесняются говорить об этом вслух. Да и сам он вот уже несколько дней не может отделаться от слов давнишней песни, которые стали как бы рефреном его нынешнего существования:

...Или мы безумны и вконец пропали —
Или станет явью все, о чем мечтали!..[1]

После ужина все идут курить. Уже совсем темно. С летного поля доносится гул моторов, озабоченные голоса механиков. Откуда-то из темноты появляется майор.

— Пора, ребята. Поторапливайтесь!

Гурьбой топают к домику, где лежат их вещи. По дороге майор рассказывает:

---

[1] Эндре Ади. «Павушку на крышу...» Перевод с венгерского Л. Мартынова.

— Перед вами одну группу отправлял. Так намучился — не приведи господи. Неделю погоды не было. А вы, видать, счастливые. Как у нас говорят, в сорочке родились...

Через минуту, когда они навьючивают на себя груз, Лизанец кричит Василию Чижмарю:

— Эй, в сорочке! Для полноты счастья прихвати-ка мешок с патронами...

Шутка смягчает напряжение.

— Ничего не забыли! — спрашивает Патаки.

— Все взяли, командир, — докладывает Дякун.

— Тогда поехали, — бросает майор.

Опять темень замаскированного аэродрома, удаляющийся рокот самолета вдали. Майор ведет их куда-то по полю, легкий ветерок доносит приятный запах свежего сена. Наконец, из темноты выплывает силуэт пузатого «дугласа».

— Приехали! — говорит майор и приглашает в самолет.

Начинается погрузка. Под конец ее майор собственноручно закрепляет на каждом парашют, крепко жмет на прощанье руки. Кто-то из экипажа с шумом задраивает за ним дверь.Самолет, подпрыгивая на буграх, бежит по полю. Мелькают подслеповатые огни зеленых фонарей. Остановка. Нарастает гул моторов, весь корпус воздушного корабля дрожит от напряжения. В приоткрытую дверь, отделяющую пассажиров от экипажа, слышится громкий голос пилота:

— Прошу взлет!

А через секунду тот же голос, только теперь спокойно и уверенно, произносит всего лишь одно слово:

— Взлетаю!

И самолет в воздухе.

...Сколько они летят: час, полтора! Страшно надоело сидеть. Цемпер ерзает на металлической скамейке: замлели ноги, их некуда вытянуть. Проход завален имуществом группы. Рации, боеприпасы, продукты — все это в специальных контейнерах, к которым прикреплены парашюты. Изловчившись, он все же просовывает свои длинные ноги между ними и с опаской поглядывает на Дякуна. Тот, еще перед полетом, предупреждал: не забывайте, что здесь рации, лучше закладывайте ноги за уши. Ему что, его коротышки поместятся где угодно. Вот и сейчас не знает себе забот — давно спит. А когда родители наградили настоящими жердями, как быть!

От таких невеселых мыслей Цемпера отвлекает разговор Степана Чижмаря с Лизанцом. Он прислушивается.

— ...Одного боюсь — пыток, — серьезно говорит Лизанец. — Живым не дамся...

— Пытки — это, брат, не самое страшное, — возражает Степан. — Пытали меня...

В их разговор вмешивается Василий.

— Сам виноват. Все колешь мне глаза: «Выдержки у тебя нет». А у самого, как до дела дошло, так тоже ее не хватило.

—Чудак человек, — говорит Степан, и Цемпер по голосу представляет себе, как он усмехается. — Разве ж мог я спокойно смотреть, как тебя ни за что ни про что замордуют!.. Понимаешь, Сеня, когда я из Испании домой вернулся, жандармы тут как тут.

А Василий жил рядом, вот они к нему и нагрянули. Спрашивают меня, а он возьми да и скажи: я, мол, и есть Степан. Один из жандармов к нему с наручниками, а он ему в морду... Ну, и начали избивать. Жена его, перепуганная, ко мне прибежала, плачет, умоляет: «Спаси Васю!» Что было делать? Пошел туда и говорю: «Оставьте этого щенка в покое. Я вот Степан Чижмарь». Ну, и как ты считаешь, правильно я поступил?

— Я бы тоже так сделал, — убежденно отвечает Лизанец.

— Вот видишь. А ты говоришь: не дался бы живым. Я вот дался, и меня потом пытали... Измывались, сволочи, крепко. Все допытывались: кто еще из наших в Испании был... Тяжело, конечно, приходилось. Да все же умудрился — бежал и, как видишь, жив. Вновь могу фашистов бить...

Самолет сделал посадку на прифронтовом аэродроме. Всего за полчаса его заправили, осмотрели и вновь подняли в воздух.

На этот раз экипаж упорно набирал высоту. Холод залез под одежду разведчиков, заставил их теснее прижаться друг к другу.

— Кажется, я в сосульку превращусь — жалобно сказал Лизанец.

— Скоро линия фронта, — объяснил Патаки. — На большой высоте легче проскочим.

Почти тотчас внутри самолета посветлело. Это отблеск прожекторов проник через иллюминаторы. Они уже над линией фронта.

Несколько раз сильно тряхнуло, все с трудом удержались на месте. Молчат. Лица стали настороженными и, как кажется Патаки при таком неверном освещении, бледными. Конечно, каждый думает сейчас об одном: ударит вражеский снаряд в самолет или нет? Несомненно, их заметили, и немецкие зенитки ведут по ним огонь. Только из-за гула мотора не слышно, как хлопают разрывы.

Стараясь перекричать этот гул, Патаки намеренно громко спрашивает Лизанца:

— Ну, как, Сеня, потеплело?

— Как в парной, Федор Владимирович! — с готовностью откликается тот. — Только веничка не хватает...

Кажется, прорвало какую-то невидимую плотину... Все повеселели, разом заговорили.

Самолет опять вошел во тьму и постепенно начал снижаться. Появился второй пилот.

— Под нами Закарпатье.

Наконец-то цель, к которой они стремились и готовились больше года, приблизилась.

— Приготовиться!

Выстраиваются в заранее намеченном порядке: впереди Патаки, за ним Ловга, потом Чижмарь, Лизанец, Цемпер. Замыкает Дякун. Он прыгает последним. Но прежде, чем он это сделает, сбросит груз.

Самолет сбавляет скорость, дверцы раскрываются.

— Пошел!

И Патаки, раскинув руки, бросается в синюю пропасть. За ним устремляются остальные.

Никогда до этого Патаки не прыгал с парашютом. Проходить соответствующую тренировку в разведшколе — отказался: такие навыки в пятьдесят лет ни к чему, один раз он прыгнет как-нибудь и так... А теперь пожалел об этом, потому что сразу, как только выпрыгнул из самолета, тугой воздух ворвался в рот и нос, как кляпом заложил их. Стало нечем дышать, показалось, что сердце оборвалось, упало куда-то. В уголке мозга испуганно вспорхнула мысль: не конец ли!

К счастью, такое состояние продолжалось недолго. Резкий рывок как бы вздернул его на дыбу: над головой раскрылся парашют. Еще мгновение, и он поплыл вверх. Было такое ощущение, какое бывает на гигантских качелях, когда взлетаешь на них выше горизонта и чувствуешь себя вдруг почти невесомым. Он давно не катался на качелях и от непривычки слегка закружилась голова.

Патаки ухватился руками за стропы и к нему вернулась уверенность. Стропы похожи на веревки качелей, ими тоже можно управлять полетом. И уже не пугает мчащаяся навстречу земля.

Он хорошо видит лес, большую поляну... Падает почти в центре ее.

Патаки встает на ноги, видит, как приземляются товарищи. Начался рассвет, и карманный фонарик, закрепленный у него на груди, теперь не нужен. Незачем подавать им сигналы. Разведчики и без того быстро собираются возле него, жмут друг другу руки, обнимаются... Все налицо, нет одного Цемпера.

— Наверное, отнесло в сторону. Сейчас появится, — успокаивает Дякун. — Он ведь раньше меня прыгал.

— Вот это-то и беспокоит, — замечает Патаки. — Ну, что ж, подождем. А пока собрать парашюты и закопать, разыскать груз.

...Действительно, Цемпера отнесло ветром в сторону. При приземлении парашют зацепился за сосну, и Вацлав повис на стропах. Здесь, в лесу, было темнее, чем на поляне, и поэтому, как ни старался он разглядеть, что под ним, ничего не было видно. Не висеть же так до утра! Не может быть, чтобы было очень уж высоко, решил Цемпер, достал нож и обрезал стропы.

Все произошло мгновенно, он почувствовал удар, сильную боль в ногах и... потерял сознание.

Когда Цемпер очнулся, то увидел над собой изумрудное небо. Ему подумалось, что видит он это во сне. Никогда еще ему не приходилось наблюдать такого неба. Казалось, зелень леса отразилась в нем, как в озере. Вацлав протер глаза и попробовал привстать, но острая боль в ногах опять плашмя уложила его на землю.

Несколько секунд он лежал так, уставившись на вершину сосны, на которой ветер, как флагом, хлопал белым шелком парашюта. Это было все равно как символ его беспомощности. «Врешь, не сдамся!» — как бы споря с кем-то, сказал он сам себе и, превозмогая боль, попытался сесть.

Ему казалось, что стоит сесть и осмотреть ноги, как найдет чем помочь себе.

От напряжения крупные капли пота выступили на лбу. Но все же он добился своего: сел. Теперь страшно захотелось пить. Он провел рукой по влажной от росы траве и мокрой ладонью смочил губы. Постаравшись унять волнение, начал сантиметр за сантиметром ощупывать правую ногу. Дойдя до середины голени, ощутил под

пальцами что-то острое и вскрикнул от нового приступа боли. Еще не веря себе, он исследовал и другую ногу.

Наконец, стало ясно: обе ноги переломлены.

Он лежал навзничь и опять смотрел в изумрудное небо. Теперь по нему плыли розовые облака, и Цемпер понял, что так наступает здесь, в Закарпатье, рассвет.

Сколько же времени он лежит под сосной, на которой трепыхает его парашют! Наверное, уже долго. Значит, товарищи ушли. Ведь им нельзя задерживаться на месте высадки, иначе можно погубить все дело. Так учили в школе, так подсказывала логика.

Придя к такому выводу, Цемпер не испытывал ни сожаления, ни страха. Вспомнился разговор Лизанца с Чижмарем в самолете и он решил, что все же живым врагам не дастся.

На руках, волоча ноги и морщась от боли, Цемпер подполз к сосне, оперся спиной о ее толстый ствол, достал пистолет и стал ждать.

Почти одновременно он услышал далекий собачий лай и совсем близко от себя голос, звавший его: «Андрей! Андрей!» Чей это голос он не разобрал, но так мог его звать только кто-то из их группы. И впервые после того, как он понял, что с ним стряслось, сердце тревожно екнуло.

Выходит, товарищи не ушли, не бросили его в беде. Это было радостно. Но именно эта радость и встревожила. Ведь с минуты на минуту могут появиться гонведы или жандармы. Они, наверное, уже идут сюда, это лай их собак донес до него ветер. А разве с ним, не могущим самостоятельно сделать и шага, товарищи далеко уйдут!! Тогда погибнет не только он один, а вся группа. Погибнет, не причинив никакого вреда фашистам, ничего не сделав из того, ради чего их сюда забросили.

Между деревьями мелькнула фигура. Цемпер узнал Лизанца, а тот в свою очередь увидел его.

— Хлопцы! Нашел! Здесь Андрей! — радостно закричал он и бросился к Цемперу.

— Не подходи близко, — остановил Вацлав, направив на него дуло пистолета.

— Ты что, сказився!! Что с тобой!

— Я не пойду с вами. Обе ноги переломаны. А вы... вы немедленно уходите. Слышишь!

— Брось дурить, Андрей! Куда это мы пойдем без тебя!

— Тебе жалко бросить меня, а дело, ради которого ты здесь, тебе не жалко!! — рассвирепел Цемпер. — Уходи! Или на твоих глазах пущу себе пулю в лоб...

Он снял пистолет с предохранителя. В ту же секунду кто-то сильно ударил его по руке, пистолет упал на траву, и чья-то нога в сапоге наступила на него. Цемпер поднял голову и встретился со строгим взглядом командира.

Подошли остальные.

— Каждый из нас, — раздельно произнес Патаки, — должен запомнить золотое правило: никогда не оставлять товарища в беде, даже если это грозит собственной жизни.

Окончание в следующем номере.

Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

ГОРОД МОЙ КИТЕЖ

Повесть

I

Бывает: человек вырастет, а все помнит какой-то день, когда он был не то что маленьким, но даже крохотным. И чаще всего помнит человек об этом времени, как покачивалась его кроватка, или там люлька, и как мать ему при этом напевала что-то. Больше он не мог ничего запомнить, потому что и говорить в то время не умел, а это запомнил. Качается, качается, качается колыбель, звуки песни наплывают — то теплей волна, то прохладнее. Тесно, уютно и темно в мире, пахнет молоком и сладко-сладко клонит в сон.

Такое и у меня осталось в памяти. Только к воспоминанию сонного голоса, мурлыкающего колыбельную, примешивается у меня еще один звук.

Сначала, когда я вспоминал его, этот звук, он казался смутным и расплывчатым гулом. Потом прорезался из него ритм. Такой:

та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

Или:

та-та-та-ра, та-та-та-ра, та-та-та-ра.

И я догадался, что это стук колес. А к нему довспомнились: гуденье воздуха за окнами, скрип и скрежет каких-то металлических деталей, хлопанье дверей — вся эта музыка дороги знакома мне чуть ли не с рождения.

Город, в котором я родился, я не знал вовсе, родители, люди непоседливые, переехали из него, когда мне было всего-то несколько месяцев от роду.

Первые проблески сознания, первые звуки и картинки, отпечатанные в нетронутой еще памяти, относятся к старому зеленому городку, под Ленинградом, к началу войны и бегству от нее в эвакуацию, в вологодские леса. Здесь настигла нас с матерью бумага, извещавшая, что у меня нет уже отца, лейтенанта связи. Здесь я рос, учился окать, не бояться гусей, если даже они наступают на тебя, вытянув шею и шипя, не плакать от мороза; здесь я тонул в речке Леденке, был сброшен самой смирной в округе кобыленкой; здесь на лесных опушках жгли мы, ребятня, костры, собирали грибы, прятались и кувыркались, дрались, голодали, ждали, когда будет победа.

Как только война окончилась, мы засобирались в дорогу. Можно было бы вернуться под Ленинград, но матери хотелось возвратиться еще дальше

назад, в «до войны», в те времена, когда они с отцом были молоды и, как теперь она понимала, счастливы. Она посоветовалась со мной, и я с высоты своих девяти лет одобрил ее планы, тем более, что впервые должен был увидеть место своего рождения.

Я хорошо помню эту дорогу, таинственно знакомую музыку колес, зеленые пыльные вагончики с трубами наверху, тесноту, какую сейчас встретишь разве в автобусе в часы пик, гром над головой — это бегали по крышам безбилетники. Ватники, мешки, старческие морщины и рев младенцев. Толкотню и взаимное недружелюбие первых минут, и то, как оттаивали, притирались друг к другу люди за долгую поездку.

Был я черняв, худ и весел. Когда улыбался, а улыбка редко слезала у меня с лица, зубы белели почти что у самых ушей.

Где-то к половине дороги:

бабка с Украины угощала меня своими — пуще глаза бережеными — семечками;

чей-то карапуз ерзал у меня на коленях, пуская задумчивые пузыри;

одноногий солдат разрешал мне пиликать на новенькой хромке;

уполномоченный Заготзерно предлагал с ним выпить и потешался над испугом моей матери;

старенькая и худенькая учительница хвалила мою развитость;

еще одна бабка благодарила за принесенный ей кипяток («Дай бог тебе здоровья, вот спасибо, вот умница»);

измученная проводница присаживалась рядом отдохнуть и пожаловаться на жизнь.

Очень я любил знакомиться с разными людьми. И, кажется, умел это делать. А все-таки главное знакомство того дня — не моя заслуга.

— Вася! Ва-ася! — услышал я голос мамы. — Ва-ася! — крикнула она уже совсем громко, как кричат на улице или в лесу. А голос был близко, рядом. Я выглянул и через купе увидел маму, тоже выглянувшую в проход.

— Иди сюда, — сказала она уже спокойно и улыбаясь кому-то другому.

Там, где она сидела, было, казалось, не так тесно, как повсюду. Я сразу увидел, кому предназначалась мамина улыбка: молодой, очень красивой и тоже улыбавшейся женщине. Близко к ней, опять-таки улыбаясь и дыша в ее румяную щечку, сидел высокий круглолицый офицер. На подбородке и по сторонам его рта от улыбки возникли ямочки.

На женщине была празднично яркая красная кофта, зеленая шерстяная юбка, толстая, с длинными ворсинками. Мама моя сразу стала как-то бедней и старше рядом с незнакомкой, и какую-то долю секунды во мне готова была вспыхнуть враждебность к этой чужой красивой тете. Но — чем же она виновата? — и во мне победили справедливость и восхищение.

Впрочем, я не мог бы сказать, кто мне больше нравится — женщина или ее спутник. У него было такое веселое лицо, такие ровные и крепкие зубы, такая новенькая форма и золотые погоны, и по три звездочки на каждом, и орден Красной Звезды блестел на гимнастерке малиновой эмалью, и новенький незакрашенный солдат в середине ордена тоже блестел.

— Васенька, — сказала мама голосом таким ласковым, что я вздрогнул.— Васенька, спой. Это очень хорошие люди. Только не упрямься.

— Мама! — сказал я со страшной укоризной.

— Ну, спой, светик, не стыдись, — сказала мама со смешком, выдававшим, что она начинает нервничать.

Я и сам любил петь и неравнодушен был к похвалам; дома, даже при гостях, просить меня не приходилось. Но взять и запеть ни с того ни с сего в вагоне, битком набитом людьми! Хуже не придумаешь. И главное, ничего уже нельзя сделать. Мама будет настаивать и все больше сердиться, соседи — скучать и отводить глаза; все кончится слезами, испорченным настроением и песенкой, которую я выдавлю из горла, протолкну, как сквозь ангину. И при этом получится, что я же упрямец, ломака, зануда!

Все так и должно было случиться, а люди, правда, были на редкость хорошие, и не хотелось мне, чтобы при них завелась вся эта тягомотина. И я — как бросаются в прорубь — запел первое, что подвернулось, что оказалось невесть как на кончике языка, а вышло — из самых любимых:

Меж крутых бе-ере-ежков
Волга-речка течет.
А по ней, по во-олнам
Легка лодка плывет.

Песня сразу отстранила меня, как что-то постороннее и ненужное, и пошла звенеть, переливаться, взлетать, и падать сама по себе. С блаженной легкостью во всем теле стоял я и думал о молодце, который плыл по Волге, — а песня делала свое сказочное и непонятное дело.

С чего бы это — но я был в ударе, пел много и закончил недавно выученной песенкой про Лизавету. Были там слова, которые тайным стыдом сжимали мне горло, а потом волна румянца окатывала с головы до ног, это когда я пел:

Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою.

К счастью, взрослые моих переживаний не замечали, а снисходительно посмеивались и песню одобрили.

Пока я пел, много скучающего народу подошло с обеих сторон; всем по душе оказалось нечаянное развлечение, и хвалили меня бессовестно. Хорошо хоть разговор вскоре перешел на Шаляпина, потом на слышанного кем-то дьячка, от голоса которого свечи в церкви гасли; народ разбился на оживленно беседующие группки и разбрелся.

Незнакомка, до той поры молчавшая, теперь тоже сочла возможным высказаться:

— Федя! — сказала она.

— Что, милая? — откликнулся офицер.

— Федя, у мальчика вокальный талант, ты согласен?

— Конечно, — сказал басом дядя Федя. — Чего там!

— Ему учиться надо, — все горячилась незнакомка, обращаясь теперь к моей матери, сильно порозовевшей.

— Кстати, Вася, познакомься, — сказала мама, — это Федор Кузьмич, а это Нора Ивановна, они будут жить совсем недалеко от нас.

— А вы к нам приходите чай пить. И ты, Вася, обязательно приходи, не стесняйся, — сказала Нора Ивановна.

— Приходи, чего там, — подтвердил дядя Федя (так, а не Федором Кузьмичем, я сразу стал его называть).

И через час мы уже пили чай,и не только целая буханка хлеба нашлась у дяди Феди, но и шмат нежно-розового шпика, и банка американской тушенки, и какие же это были радушные, богатые, улыбчивые, красивые люди!

Дядя Федя рассказывал о своем единственном сражении, за которое ему дали орден и после которого он чуть ли не год вылечивался в госпитале.

Нора Ивановна все волновалась, чтобы я не зарыл свой талант в землю. Под конец она совсем расчувствовалась и, давая свой адрес, сказала, что всегда-всегда рада будет видеть нас у себя в Петушках.

— Ведь мы всегда будем рады, ну скажи,Федя?

— Конечно, чего там, — подтвердил, широко улыбаясь, дядя Федя. И что от нашего Углова до их службы рукой подать, каких-нибудь 50 километров, и что очень, очень было приятно познакомиться с моей мамой и со мной.

Дядя Федя помог нам выгрузиться, подарил лишнюю звездочку от погон, и расстались мы друзьями, причем Нора Ивановна еще долго махала нам из окна, я им тоже махал, а мама стояла совсем растерянная у наших узлов и тоскливо озиралась по сторонам.

Мы приехали.

Было от чего растеряться.

Разорен и порушен город, где я родился. Длинное кирпичное здание вокзала почему-то уцелело, но стоявшая шагах в пятидесяти от него церковь белого камня начиналась высоким курганом битого кирпича. Дальше сквозь пролом виднелось внутреннее помещение, заваленное сверху и с боков кирпичом и штукатуркой. Клочки лиловой, золотой, малиновой и лазоревой росписи вспыхивали под солнцем. Голубой роскошный купол не упал, а держался на трех уцелевших стенах, сильно покосившись. Сквозь груды мусора снизу, а также в щелях, дырах и проломах пробивалась трава.

Город — сейчас это были развалины двух- и трехэтажных домов — шел от вокзала вглубь. Мы видели, как в кино или на сцене, комнаты в разрезе, пестрые обои с пятнами там, где раньше висели картины и ходики. Кое-где в развалинах встречались более или менее уцелевшие отсеки, и там оконные проемы были заделаны досками и фанерой, а из коленчатой железной трубы шел дымок. Меж руинами слабо зеленели клочки огородов, обнесенные колючей проволокой. Изредка попадались и нетронутые дома, чаще одноэтажные, совсем как в деревне избы с резными карнизами и наличниками.

Еще бросались в глаза русские печи. Видно, дома, в которых они стояли, обогревали людей и кормили щами, картошкой, оладьями — дома эти, видать, сгорели, а печки не взял огонь. Они стояли, основательные, приземистые, с широкими удобными лежанками, с длинными прямоугольными трубами, как будто явившиеся из сказки о ленивом Емеле. Некоторые печи топились; тогда рядом обнаруживалась либо землянка, либо ход в каменный погреб, в бывший подпол, возведенный теперь в ранг человеческого жилища.

Свои узлы мы оставили на вокзале, в товарном вагончике с надписью, сделанной углем: «Камера хранения». Приехали мы в одиннадцать утра и вот уже несколько часов без отдыха ходили по разгромленным улицам.

Мама разыскивала своих довоенных знакомых, но все они либо не вернулись из эвакуации и с фронта, либо были убиты, или о них просто никто ничего не знал.

Мы заходили в учреждения, в ужасно темные коридорчики, битком набитые народом. Бог знает, как душно было там; запах махорки, кислой потной одежды, крики и толкотня выгоняли меня снова на улицу. В животе урчало от голода, солнце сильно палило, я так устал и очумел от всего, что готов был разреветься.

Так, дожидаясь маму, стоял я возле какого-то казенного здания. В трех шагах от меня сидел прямо на земле пацан моих лет и уплетал хлеб с салом. Сало было нарезано тонюсенькими ломтиками и положено между двумя кусками хлеба, один из которых был горбушкой. Мальчишка во всю мочь разевал рот, и все равно еле-еле доставал от нижнего края бутерброда до верхнего.

Сколько раз говорила мне мама: «Не смотри человеку в рот». И я не смотрел, я, наоборот, отводил глаза в сторону, и глотал слюнки, и снова и снова отводил глаза.

— Ша-иш, шо-и! — сказал пацан и похлопал рукой рядом с собой. Искушение было велико и сладостно, но я сделал вид, что ничего не понял. Одного я сейчас боялся: что он не повторит свое приглашение. Парень долго, долго, долго жевал. Наконец он проглотил хлеб, и я тоже непроизвольно и судорожно сглотнул.

— Садись, что ли! — снова сказал пацан веселым и писклявым голосом и, примерившись, отломил точно половину бутерброда. Больше он ничего не говорил, — и я, ну, конечно же, и я не говорил ничегошеньки. Хлеб был пережеван, размельчен до атомов, прочувствован в отдельности языком, зубами, нёбом и только потом проглочен. Оба мы одновременно вытерли губы и — оба засмеялись.

— Мишаня! — сказал он, протягивая крепкую, худую, грязную ладошку с бесчисленными царапинами. Он заметил, как я на нее глядел, и добавил: — Не чесотка, не бойсь. Поцарапался.

— Да ты что? — сказал я. — Я ничего такого.

— Это с тобой мамка была? — спросил он.

— Ага.

— И моя там. За отца пенсия?

Я понятия не имел, что мать пошла насчет пенсии, но кивнул.

— Ты где живешь?

— Нигде.

Как-то все получалось, что он меня спрашивал, а я послушно отвечал. И обидно почему-то не было.

— Мырять пойдешь? — спросил Мишаня и сам же ответил: — Не-е, дожидать будешь. Я у базара живу, прям за когизом — землянка. Найдешь.

Он вскочил, отряхнулся и пошел не оглядываясь — босой, худой, худее и выше меня. А я уже запомнил его лицо: нос, подбородок остренькие, зубы мелкие, глаза — не синие, не серые, прозрачные, как ледышки, волосы выгорели, стоят торчком.

II

...Две жизни легко укладывались в то время в моей одной. Скажем, стою я за хлебом, зорко слежу, чтобы меня не оттерли, о чем-то спрашиваю, что-то отвечаю. А во второй, никому не видимой жизни, я в это время забрасываю гранатами вражеский дот. Встают цепи краснозвездных бойцов, «ура» летит над широкой долиной, враги отлетают от меня, точно куклы. И к тому моменту, когда я вручаю продавцу хлебные карточки, воображаемые подвиги уже приводят меня в Кремль, Калинин прикалывает мне на грудь Золотую Звезду и говорит: «Спасибо, Вася! От всей страны спасибо тебе!». Щеки мои горят, глаза сияют, грудь вздымается. «Ты чего, мальчик? — спрашивает изумленный продавец. — Вот же твой хлеб, иди, иди!»

Иногда во второй, призрачной жизни не было погонь, подвигов и сражений, а была только музыка. Я шел и шаги свои приноравливал к ритму потрясающих аккордов, бравшихся бог весть откуда и заполнявших меня до отказа необъяснимой радостью и торжеством.

С некоторых пор в своих мечтах я совершал чудеса храбрости и побеждал не один. Рядом со мной был друг. То я его спасал, то он меня вызволял на краю гибели. И один радовался шагам другого, и все самые тайные мысли можно было высказать друг другу и знать, что они будут поняты.

Я твердо решил, что человеку нужен друг, что друг может быть только один и только на всю жизнь. И вот постепенно у него, этого друга, в фантазиях моих стало проступать лицо. Остренький нос и подбородок остренький, глаза то ли серые, то ли голубые, прозрачные, точно льдинки, волосы торчком. Мишаня! А что? Чем не друг?

Мы с ним уже успели сойтись «по корешам». Бродили в развалинах, не обращая внимания на надписи «Проход строго воспрещен», купались в холоднющей майской реке, шныряли по вокзальным путям.

Вот и сегодня сговорились встретиться в траншее за его землянкой, да не вышло.

Жить мы устроились на самой окраине, там, где город вовсе превращался в деревню. Сняли угол у инвалида, тезки моего, дяди Васи. Хозяин с женой, Евдокией Ивановной, грудным младенцем и дочкой Нюрой, дылдой, перешедшей уже в четвертый класс, и мы с мамой помещались в правой половине избы (левую занимал брат дяди Васи, еще лет за пять до войны поссорившийся с ним из-за наследства; с тех пор они не разговаривали).

Жилье наше — одна довольно обширная комната, разделенная огромной русской печью и фанерной перегородкой надвое.

С кроватью устроились просто: дядя Вася сколотил козлы, на них настелили доски, сверху положили привезенный с Вологодчины матрац. Спали мы с мамой «валетиком», я — ближе к стенке. Каждый раз, проснувшись раньше, я норовил выбраться незамеченным, и никогда мне это не удавалось. Вот и сейчас:

— Ты куда? — сонно спросила мама.— Не вздумай улизнуть, сегодня санитарный день!

Вот всегда она так. Я только подумаю что-нибудь, а она уже знает.

Я вышел во двор и поежился, потому что как раз дунул холодно ветер. Но тут же, второй волной, прошло по мне тепло от встающего солнца. Я по-

смотрел на него, зажмурился, отвернулся и стоял так, пока не прошли перед глазами синие и алые молнии и не занял их место ровный розовый свет. Тогда я сразу открыл глаза и увидел нашу улицу и в конце ее старинные деревянные ворота, за которыми улица уже становилась дорогой, и стадо там, на дороге, с маленьким пастухом, и поля, и полосы, и рощи кустарников, все яркое, зеленое, синее и с розовым в придачу — от солнца. Птицы прямо-таки раскричались от радости, и мне их нетрудно было понять.

Умывальник был устроен под отдельным навесом, старый: вроде как бы лодка, тяжелая, из металла, и висит она на двух цепях. Только дотронешься,— и тебе в теплые со сна, тоже лодочкой сложенные ладони упадет вода — серебро и лед.

Я шел в избу, отряхивая руки и улыбаясь, когда почувствовал ступнями, как чуть-чуть дрогнула земля.

«Показалось»,— подумал я, и земля снова — почти незаметно, но вся земля — качнулась. Словно вдали ударила молния, и даже гром, я вроде бы услышал. Но в небе не было ничего, кроме страшной глубины и солнца.

Я еще подождал, но больше не было ничего. И я снова подумал: «Показалось». Но разом как-то испортилось настроение — даже смешно, непонятный какой-то пустяк, но досадой и странной тревогой осело что-то в душе, на донышке. И совсем другой, не такой, каким вышел, воротился я в избу. А там уже встали. То есть Евдокия Ивановна встала уже давно и успела затопить печь, натаскать и поставить воды для стирки и мытья и поругаться с пастухом. Она в который раз упрекала его, что он «по злобе» хуже смотрит за ее коровой, чем за другими, и раздосадованный пастух уже не шутя грозился ее скотину в стадо не брать.

Дядя Вася возился в углу с порванными автомобильными камерами и обрезками красной резины, из которых он целыми днями клеил самодельные калоши: при угловской грязи они пользовались неслыханным спросом и возвращались в дом деньгами, деревенской мукой и еще кое-чем.

Мама не стала в это утро, как обычно, колдовать над зеркальцем, а принялась сразу разбирать вещи для стирки и ахать, что все прохудилось, что на меня не напасешься, и все более сердиться от своих собственных слов.

Тут обнаружилось, что штаны, из которых за три дня до того гвоздем выдрало клок, когда мы с Мишаней были «немцами» и удирали от сильно разозлившихся «наших», что штаны эти уже не починишь. Нитки совсем истончились и не могли удержать заплат. Так что те штаны, какие были на мне, оказались единственными. И маме, конечно, приспичило их стирать! Не зря у меня испортилось настроение с самого утра.

Не хотелось расставаться со штанами, а делать нечего. Я залез голышом под одеяло, а мама стирала. Дылда Нюра скалилась, поглядывая на меня. Но тут зашелся криком ребенок, и я со злорадством увидел, что Нюрке достался подзатыльник — чего не смотрит! Правда, она этого подзатыльника будто не заметила. В избе было душно, пар бил в потолок, дядя Вася курил «козью ножку».

Евдокия Ивановна хлопотала у печи и рассказывала сказку:

— Раньше, в предошние времена, хлебушко родился — во! — Она, костистая, высокая, и показывает далеко у себя над головой. — А колосья были в мою руку. Хлебов разных, пышек, пирогов, оладушек стало — ешь, не хочу!

Ну, вот, печет однова хозяйка блины, только успевает сковородку махать. А дите у ней, как на грех, животом маялось. Вот раз она его обмыла, вот еще да еще. И опять кричит дите: «Мамака!». А хозяйка в запарке вовси. Со злости-то, сгоряча она и кинь ему блин: «На, утрись!» Бог это с неба увидал, как осерчает! И с той поры хлеб вот такусенький родится.

Маме, видно, совсем не нравится сказка.

— Вася, марш на улицу! — говорит она, разгибая и поправляя тыльной стороной ладони волосы.

— Как я пойду? — говорю я, сжимаясь под одеялом.

— Иди, как есть, сам виноват,— кричит мама.— Пальто накинь!

Кажется, у всякого деревца появилось по тысяче глаз. Что мне делать?

Я стою в старом пыльном и тяжелом пальто, запахнувшись, что есть мочи, но голые колени постыдно белеют из-под него. Вся улица, да что там улица, весь город, должно быть, скалится надо мной, как хозяйская Нюрка. А вот и она, тут как тут, язык показывает:

— Бесштанная команда, бесштанная команда!

Эх, дать бы ей, да куда же с такой дылдой связаться! Но я ей отомщу, я ей так отомщу! Я придумываю планы мести, один другого ужаснее, и не замечаю, как возле появились Машаня и еще трое.

— Ты чего так вырядился? — удивляется Мишаня.

— У него штанов нет, вон на веревочке сушатся. Бесштанная команда, бесштанная команда!

Провалиться бы куда-нибудь или умереть от позора. Нет, этого я не прощу. Пусть Нюрка — но мама, моя мама, как могла она послать меня на стыд и посмешище! Теперь я умру, решено, я умру от горя, и все они еще пожалеют, они будут плакать и раскаиваться, но будет поздно.

Вот и Мишаня, ясное дело, смеется.

Нет, он не смеется уже. Он аж побледнел, так хочет мне помочь. Только вот не знает — как.

— Дура ты,— говорит, наконец, Нюрке Мишаня. — Не понимаешь ты ни бельмеса. Это мы с ним об заклад побились, что он выйдет без штанов. Я ему говорю: «Слабо, не выйдешь!». А он говорит: «А вот не слабо, выйду». — Ладно, Васька,— говорит он мне, уже не обращая внимания на Нюрку.— Чего там, я проспорил. Дай пять!

III

— Что бы ты делал, если бы ты не в Советском Союзе родился, а где-нибудь в Америке?

— Я? Н-не знаю...

— А я б утопился, наверно.

— А я... а я застрелился бы. Из маузера.

— Чудак, кто ж тебе маузер даст?

— Ну, достал бы.

Мы лежим с Мишаней пузом кверху на взгорочке, на густой уже траве, солнце греет вовсю; звон и шелест былинок, гуденье и жужжанье, и стрекот, паренье, полет и ползанье крохотных созданий над нами и возле нас, луговые

истомные запахи и сладковатый, сырой — снизу, с болота, — благодать...

— А все ж таки, как там люди живут?

— Россию не видели, вот и живут.

— А дядь-Вася, говорит, он в Германии был, так бы нам, говорит, жить. В деревне, говорит, самой махонькой, все дома красной черепицей крыты и при каждой, говорит, отхожее место капитальное и к нему дорожка асфальтовая.

— Ну, это он врет, про дорожку.

— А жратвы у них, говорит, раньше было навалом — чего душа пожелает...

— Чего ж они к нам полезли? Да и что жратва! — Мишаня сплюнул. — Ты б согласился год не есть, если б надо было?

— Согласился бы. Только не прожить год-то...

— Зато умрешь как герой. А враги предлагали бы тебе: на, бери сто банок тушенки, сто плиток шоколада...

— Хлеба, сколько хочешь...

— Что хлеба — булок сладких, варенья, сколь хотишь, колбасы всякой — что бы ты сказал врагам?

— Не взял бы я ничего от них.

— И я не взял бы, — сказал Мишаня. — Плюнул бы я на них и на ихнюю жратву. Плевать, я бы им сказал, мне моя родная Родина дороже!

— И я бы так сказал, — сказал я, потому что лучше Мишаниных слов ничего нельзя было придумать.

Помолчали.

— Слышь, Мишаня, знаешь, как меня один командир угощал в вагоне?

— Какой командир?

— Молодой, веселый. Три звездочки на погонах и орден. — И я достал из кармана маленькую звездочку, береженную трепетно, — подарок дяди Феди.

— А, старлей.

— Что? — переспросил я.

— Старший лейтенант.

— Ну да, — сказал я. — Его дядей Федей зовут. У него жена, знаешь, какая? Краси-ивая. Они меня в гости прямо звали, звали. Подружились мы. Он так и говорит: «Друг мой, приезжай к нам в Петушки, встретим, как полагается».

— Петушки — это недалеко, — сказал Мишаня. — А чего, езжай. Поезжай, говорю, в свои Петушки. Можешь и жить там, если у тебя друг в Петушках.

Он весь покраснел, даже в руки и коленки хлынул румянец, и отвернулся.

— Мишаня! — я задохнулся. — Да ты что, Мишаня! Ты у меня друг, самый лучший, хочешь, поклянусь?

Мишаня молчал.

Мне совсем стало нехорошо. Но тут Мишаня повернул ко мне лицо.

— Оба два поклянемся, — сказал он. — Кровью, как солдаты.

— Кровью, — сказал я.

— Чтоб по гроб жизни — дружба.

— И чтоб куда ты, туда и я!

— И без друга никуда, — сказал Мишаня. — А если тебя кто тронет, ты только мне скажи.

Мишаня достал перочинный ножик и острием порезал себе палец. И я выпил теплую каплю крови, выкатившуюся из Мишаниного пальца, и Мишаня выпил каплю моей.

И вдруг — опять как тогда, утром, — вздрогнула под нами земля. Только на этот раз сильней, чем тогда, и ощутил я этот толчок всем телом, тут уж не подумаешь, что показалось.

— Ты чего? — сказал Мишаня.

— А ты ничего не заметил?

— Подумаешь, важность, — сказал Мишаня. — Саперы мины подрывают.

— Какие мины?

— Да ты что, Васька, с неба свалился? Тут все, как есть, заминировано было. Сперва наши мин понаставили, потом немцы. Как наступать, саперы идут и такими палками, как у слепых, мины ищут. А как найдут — подрывают. По углам, по кустам да по оврагам, знаешь, сколько мин осталось? Сто миллионов!

И сразу мне стало спокойнее, от того, что Мишаня все знает, да и я знаю теперь, от чего земля дрожит. Только осталось в душе что-то неприятное, от первоначальной тревоги, самую малость сосало что-то под ложечкой.

Мы перевернулись на живот, глянули: все в порядке, пасется Машка как миленькая.

Машка — это корова хозяйская, большая, добрая, слюнявая, вся коричневая с белым, левый рог немножко обломан. Пастух исполнил все-таки свою угрозу — отказался пасти Машку, разругавшись с Евдокией Ивановной.

Хозяйка наша растерялась: у самой хлопот полон рот, Нюрка младенца нянчит.

Вечером мама сказала мне:

— Васенька, тебе придется поработать.

— И-и, какая работа, — тут же, подходя, сказала хозяйка. — Знай себе на солнышке валяйся да присматривай, чтобы скотина не баловала. Нюрка харчи в обед притащит, да ищо молока дам, покушаешь!

Так мы с Мишаней стали пастухами.

Теперь я, как настоящий работник, вставал затемно, а вскоре чаще всего прибегал и мой друг. Машка была чудо как послушна. Я хоть и жил в эвакуации в селе, а коров до тех пор побаивался. Лестно было видеть неограниченную власть над одушевленной, доброй бело-рыжей громадой, ее покорность моему приказу, голосу.

Мы располагались обыкновенно невдалеке от общего стада. Бывало, старичок пастух с круглым, почти безбородым лицом говорил: «Чего вы тута маетесь, побегайте, я пригляжу». Был он косноязычен, во рту — каша, но эти его слова мы отлично понимали.

А уж бегали — до упаду, только к обеду отводя от стада Машку, к тому времени, как хозяйская Нюрка, повязанная по-взрослому платочком, приходила с узелком и глядела строго, поджав, точно как мать ее, губы...

За эти дни мы облазили множество старых окопов, траншей, блиндажей и землянок. Однажды в глубокой лощине, между кустов, обнаружили даже недогоревший немецкий танк. Был он залит через открытый люк дождевой во-

дой. Мы полезли было на броню, торопясь и ликуя, но навстречу ударил такой страшный, тошнотворный дух, что мы только переглянулись и никогда в то место не возвращались, и даже словом не обмолвились знакомым пацанам об увиденном.

Каких только трофеев не перепадало нам за эти походы! Солдатские каски, кресты и фонарики, ракетницы, ржавая губная гармоника, мотни медного и разноцветного полевого провода и «колючки», обломки карабинов и пистолетов, погоны, а то вдруг обрывок фотографии, женское или детское лицо, не понять какой нации.

Попадались порванные и целые противогазы — и все были нам велики, и множество было вещей из металла, кожи, картона, резины, снова металла, вещей, назначение которых вовсе казалось таинственно и непостижимо.

Но чаще всего встречались гильзы, потом патроны — целехонькие. Не только мы с Мишаней, вся ребятня в Углове такие салюты, такие фейерверки выдавала, только держись! И никакие увещевания и трепки матерей не могли от этого излечить.

Так-то однажды мы вдвоем, отведя Машку подальше от стада, развели в небольшой воронке костер, набросали туда патронов, отбежали, легли.

Дело обычное, а все-таки сердце затрепыхалось. Так оно билось, что несметное число его ударов помещалось в секунде; мгновение тянулось бесконечное, как товарняк.

К тому же на этот раз ничего не случалось подозрительно долго. Может, патроны подпорчены или костер потух? Мишаня уже было приподнялся, как вдруг...

Трах! Та-ра-рах-тах-тах-тах! И такое «ба-бах! в придачу, что мы, всего ожидавшие, вздрогнули всем телом.

— Противотанковый! — уважительно сказал Мишаня и неожиданно вскочил на ноги: — Смотри!

Машка, добрая, глупая, тяжелая и медлительная, как трактор, Машка, доверенная нашим попечениям, неслась очертя голову в полукилометре от нас. Задрав хвост, ничего не разбирая, взбрыкивая задними ногами, она мчалась, летела прямиком к болоту!

Что рассказать об этой погоне? Об этой скачке по болоту и оврагам, сквозь кустарник и лески, о падениях, об осипших голосах, оравших одно слово: «Машка-а-а!» с лаской и угрозой последнего отчаяния, о царапинах, ссадинах, ушибах, об ужасе нашего возвращения?

Машка стояла в хлеву. Завидев нас с Мишаней, она дико, по-звериному закричала.

— Поди-ка сюда, — ласково сказал мне дядя Вася.

Я подошел.

Он взялся за правое мое ухо и молча стал его выкручивать. Так и закончилась наша с Мишаней пастушеская карьера.

IV

Был ли я «маменьким сынком»?

Не думаю.

Но любовь к матери, неровная, смешная, ревнивая, составляла в те дни едва ли не половину моих переживаний.

Кому ж еще мне было так радоваться, на кого обижаться до потери пульса, от чьих еще слов и ласки смеяться или плакать так горько и сладостно, как после уж никогда не приходилось в жизни?

Будь жив отец, все сложилось бы спокойнее и проще. Но для того, чтобы он был жив, надо было бы повернуть время, как крутят в обратную сторону киноленту: вот взрыв из большого становится крохотным и обращается в тяжелую каплю бомбы, вот бомба эта подымается с земли к самолету и втягивается в люк, вот и сам самолет с крестом на фюзеляже пятится на запад, на аэродром, вот он попадает на завод и разбирается, разваливается, расплавляется, пока его части не превращаются в руду, которую горняки должны были бы бросить обратно в штольни.

Кто знает, за сколько лет до моего рождения находилась та точка, с которой все могло бы пойти иначе, без 22 июня, без того боя, в котором упал мой отец...

Сейчас я его уже почти и не помнил. Зато каждый из прошедших дней глядел на меня живыми карими, веселыми и гневными мамиными глазами, лучился ее улыбкой, стеснительной и неудержимой, хмурился ее первыми морщинками.

Должно быть, ужас как одиноко было ей с первых дней войны и эвакуации, если во мне, чуть ли не младенце, лет с шести, стала признавать она товарища. Неприятности по службе и фронтовые сводки, воспоминания о довоенной жизни и планы на будущее — все обсуждалось и переживалось вместе.

Когда к концу войны к нам зачастил председатель колхоза, высоченный и ладный, с пустым рукавом вместо правой руки, я воспринял это как посягательство на мои святые права. Не помогли гостинцы, не удались чуть не подобострастные попытки сдружиться, — огромный краснолицый детина отступил, едва не плача.

В те дни часто хмурилась, вздыхала, была раздражена и мама. Но однажды она сказала: «Может, это и к лучшему?» — и вздохнула уже облегченно...

Иногда она спохватывалась: «Слишком много воли я тебе даю!» И правда, с семи лет я на целые недели оставался один во время ее командировок, сам по себе уезжал с попутными подводами в ближние деревни. Забеспокоившись, мать воспитывала меня и ставила в угол, сгоряча могла угостить и подзатыльником. Но сама же потом не находила себе места и первая говорила особенным, глубоким и нежным голосом:

— Ну, что ты, дурачок! Иди сюда. Иди, иди ко мне, Васенька, золотые глазки...

Слова ее обволакивали лаской и теплом, я таял в этой нежности и пропадал, становился маленьким, счастливым и беспомощным, как до рождения.

В Углове что-то стало у нас разлаживаться. В деревенской избе, какой и был, по сути, дом наших хозяев, нежности не приняты. Теснота, три пары чужих глаз, и не глядя все примечавших, крик неугомонного младенца вставали между нами. Беззлобные, но частые перебранки, окрики и подзатыльники, достававшиеся Нюрке, касались каким-то боком и нас. Мы чаще ссорились, а когда мать хотела утешить меня, я дичился и вырывался.

Да и виделись мы все меньше. Мать устроилась техническим секретарем в райисполком. Бывало, что заседания кончались за полночь, а с рассветом матери снова нужно было садиться за спешную работу.

Жизнь начиналась заново не на пустом даже, а на заваленном обломками войны месте: человеческие судьбы и связи были покорежены и истерзаны ничуть не меньше, чем вещи, земля и постройки.

Само собой понятно, что с бедой и надеждой люди шли к своей власти. И власть эта, рассматривая воспаленными глазами проекты и жалобы, просьбы и заявления, наделяя и отказывая, кашляя от табачного — столбом — дыма, разрывалась между неотложностями; продовольствие для тысяч голодных ртов, кров для бездомных, налоги и пенсии, подписка на заем, школа и борьба со спекуляцией были только частью бесконечных и нескончаемых государственных забот.

Заходя изредка к матери на службу, я все это видел и если не понимал, то чувствовал причины спешки, ожесточенности этих людей, изнуренных, некрасивых, начисто забывших себя.

Я как бы и не удивился даже, увидев в один из таких приходов — впервые в жизни — в маминой руке дымящую папироску. Мама вздрогнула и сделала такое движение, как будто хотела папироску спрятать, но прятать не стала, а спросила чужим голосом:

— Ну, что тебе? Что ты хотел?

И я перестал бывать у нее на службе, тем более что все, кто там спорил, курил, просил и приказывал, как бы спотыкались об меня взглядом.

А потом — у меня был Мишаня...

Мои упоминания о нем, все более частые, а потом и сообщение о вечной нашей дружбе, казалось, остались незамеченными — только странная улыбка как бы отсветом солнечной ряби прошла по маминому лицу. Потом мама встревожилась. Она расспрашивала о моем друге чересчур ровным и спокойным голосом.

— Хватит! — сказала она однажды. — Сегодня мы пойдем к твоему Мишане. Где он живет?

С работы она специально отпросилась пораньше.

Мишаня жил сразу за базаром. Прямоугольная, пыльная, поросшая по краям травой базарная площадь была уставлена длинными низкими скамейками и столами, врытыми в землю. На отшибе стояла избушка, в левой половине которой был склад рыночных принадлежностей, а в правой — когиз, книжный магазин. Нужно было обойти когиз, чтобы почти сразу же наткнуться на Мишанину землянку. Дальше домов не было, а был пустырь с клочками огородов, множеством воронок, старых траншей, с двумя печками — их уже растаскивали на кирпичи — и длинным каменным фундаментом начатой до войны, да так и брошенной казенной постройки. Еще дальше пустырь круто обрывался: внизу текла, то и дело закручиваясь водоворотами, река.

Пять земляных ступенек, дверца из досок, такая низенькая, что даже я пригибаюсь. Так, согнувшись, надо сделать еще два шажка, в кромешной тьме толкнуть от себя вторую дверь.

— Кого еще черт несет! А, Васька... Вот и споешь нам. Споешь? Споешь, куда ты денешься!

Ох, как мы не вовремя!

Вовсю чадит фитиль коптилки. На столе — это перевернутый вверх дном большой ящик — бутылка, граненый стакан и кружка. Мишанина мать сидит рядом, беспардонно обняв ее, развалился пучеглазый Пудик — приемщик утиля с базара. Сырость, сивушная вонь.

Мама моя стоит в растерянности, — вернуться на свет уже поздно.

— Входи, гражданочка, чего испугалась? — говорит певуче и высоко мать Мишани. — Взгляни-ка на мои хоромы!

Она обводит широким жестом землянку, указывая поочередно на низкие нары с тряпьем, фотографию танкиста из «Огонька», круглую «буржуйку» с проржавевшей узкой трубой.

— Выпьем по маленькой, — говорит Мишанина мать. — Пудик нам еще мужика приведет. Приведешь, Пудик, а?

— Гы! — ухмыляется Пудик.

— Такого же здорового, как ты, Пудик, — говорит Мишанина мать все более высоким и отчаянным голосом. — Ведь ты же здоровый, Пудик, совсем здоровый?

— Гы! Здоровый, знамо, не больной, — самодовольно говорит он и расправляет плечи.

— Совсем, говоришь, здоровый? Какого ж рожна ты не пал смертью храбрых?

Она трахнула кулаком по ящику, посуда грохнулась на пол. Волосы ее рассыпались по плечам, лицо горит, такое красивое и презрительное, что я не узнал его, ахнул.

— Чего ж ты, сволочь, не убитый, чего ж ты не пораненный, гадина лютая?!

— Что ты, что ты, что ты, — бормочет Пудик, губы прыгают. — Грыжа у меня, все знают...

— Брешешь ты, Пудик, покажь свою грыжу, миленький, а то не поверю...

— Как вы можете при ребенке! — крикнула моя мама.

— Робенки нынче больше нашего знают, — неожиданно тихо сказала Мишанина мать и вдруг, упав грудью на стол, страшно, глухо зарыдала.

— Подите вон! — крикнула мама Пудику. — И ты, Вася. Подожди на улице.

Последнее, что я видел: она подсела к Мишаниной матери и, гладя ее волосы, шептала на ухо что-то неслышное...

Когда я выскочил, обалдевший, из землянки, то побежал на пустырь.

Вот и «наша» траншея. Длинная, глубокая и совершенно сухая, она изгибалась параллельно реке. Здесь мы с Мишаней, разминувшись, всегда искали друг друга. Я спустил ноги вниз. Раскинув руки по краям траншеи, покачался и хотел уже спрыгнуть.

— Ой! — звонко сказал кто-то за моей спиной в траншее.

Я вздрогнул, соскочил. Но пока неуклюже поворачивался в узком проходе, рядом тоже послышался шорох осыпающейся земли, хихиканье и топот босых ног. В пяти шагах от меня траншея круто заворачивала, что-то красное мелькнуло там и пропало. Что было духу понесся я следом. И — налетел с размаху на щуплую фигурку, прижавшуюся к стенке.

Меня удивило, что девчонка не заревела. Она стояла спокойно, блестела белками глаз. И еще громко дышала. Я тоже молчал и глазел довольно глупо.

— Это ты, Вася. А я-то думала, кто это? Так испугалась, так испугалась! — сказала девчонка и снова хихикнула.

Как же, испугалась она! Забралась в чужую траншею, ойкает ни с того ни с сего, убегает, хотя ее никто не трогает.

Но странно знакомо мне было ее лицо. Русые волосы, мягко зачесанные назад, выпуклый лоб, огромные прозрачные глаза, губы маленькие и подвижные, готовые гневно сжаться, улыбнуться, рассмеяться вовсю, без оглядки.

И тут я понял: только что это самое лицо я видел в землянке, только было оно много старше, строже, да еще гордость и презрение отчеканили его, как на медали.

И голос не зря показался знакомым: веселый и писклявый, как у Мишани.

Узнал!

Забегая к Мишане, я раза два мельком видел его сестру Светку, но даже разглядеть ее толком не успел, тем более, что она возилась обычно с четырехлетним братишкой, младшим в семье.

— Вы что тут делаете?

Мишаня — легок на помине — перегнулся сверху. Господи, что мы тут делаем? Ничего мы не делаем. Почему же я взмок от стыда и злости, услышав нелепый Мишанин вопрос?

— Светка, марш домой! — говорит Мишаня, подавая ей руку и помогая выбраться наверх. И легонько шлепает ее по мягкому месту. Ничуть не обидившись, она бежит. Солнце последними лучами просвечивает ее волосы, ее алое платье. Я вдруг вижу, что на нем проглядывают большие буквы: «д», «р», «з». С трудом догадываюсь, что, значит, раньше на этой материи был какой-нибудь лозунг. Что-то такое: «Да здравствует!» Она оборачивается на бегу, приостанавливается. Кричит пискляво и весело:

— До свидания, Вася!

V

Витька Бондарь с матерью ездил в область и видел, как вешали военных преступников. Один генерал, немецкий старик, от страха обмочился, но его все равно повесили.

Витька все подробно рассказывал, их с мамкой чуть не задавили, зато пожалели потом и вытолкали вперед.

Мишаня слушал, приговаривая: «Так им и надо, так им и надо!» — и сильно морщился.

В тот день мы опять пошли к Фрицу. Он и не Фриц вовсе, а Хельмут, но Мишаня сказал: «Все равно Фриц!». Так он Фрицем и остался.

Пленных пригоняли каждое утро на Невельскую улицу, где они ставили двухэтажные одинаковые дома. Четыре конвоира с винтовками всегда шли по бокам и сзади колонны. Потом конвоиры усаживались где-нибудь так, чтобы каждый видел побольше немцев, а те начинали работать: выламывать из развалин и складывать кирпичи, заводить раствор, копать ямы. Нельзя сказать, чтоб они очень спешили; дело шло вяло, но все-таки шло. Часто два-три человека сходились посреди площадки, тараторили по-своему; иной раз конвоир прикрикнет на них, кулаком пригрозит для порядка. Строгости настоя-

щей не было: все равно немцам некуда было бежать, во все стороны от них — Россия да Россия, а сколько они в нее слез принесли и крови, это они и сами знали. Так что сидели они себе покорно и потихонечку, работали не торопясь, болели — все больше чирьями от непривычного климата, тосковали.

Я, когда Мишаня в первый раз притащил меня сюда, глядел во все глаза: вот ведь, хоть и пленные, но фашисты, настоящие, которые были за Гитлера и в наших стреляли. И сперва никак не мог поверить, что это они и есть — смирные, худые, облезлые.

А они, завидев нас, манят пальцем, лопочут, что-то такое жестами показывают. И не только нас — ни одного человека они так просто не пропустят. Если же тетка какая мимо пройдет или девушка, они и работу бросали: зубы скалят, суетятся, кричат, пока конвоир не спохватится и не наведет порядок.

Мишаня здесь, как и всюду, был человек свой. Даже конвоиры обычное: «Проваливай, покудова цел!» — ему не всегда кричали.

Уж потом я узнал, как он познакомился с нашим Фрицем.

В толпе пленных, когда их впервые вели по угловским улицам, Мишаня нашел его. В те дни в кино, на плакатах, в газетах можно было увидеть карикатуру на немца: длинноногого, белобрысого, с выпученными серыми глазами, с чубчиком под Гитлера.

Наш Фриц, к несчастью своему, в точности походил на эту карикатуру. Высмотрев его, Мишаня не знал покоя. Он вбил себе в голову, что этот — именно он и никто другой — стрелял в его отца.

Мишаня выслеживал его, тенью пластаясь по обочинам, прячась в проломах заборов и за грудами битого кирпича, прожигал свою жертву ненавидящими глазами. Случилось так, что Фриц встретился с ним взглядом и... улыбнулся. Этого Мишаня не вынес. Он вложил в резинку рогатки давно заготовленный голыш...

Потом Мишаня несся во весь дух. Однако погони не было. Медленно, неуверенно Мишаня вернулся. Фриц сидел на земле, здоровенная шишка торчала у него над правой бровью. Он сидел и плакал, рыдал, как ребенок, мешая слезы и сопли. Его напарник, низенький лысый старик, стоял рядом, покачивая головой. Мишаня подошел, сунул Фрицу кусок хлеба, бывший у него в кармане: «На, жри...» Слезы с новой силой хлынули из серых, выпученных вражеских глаз. Фриц замычал, мотая головой из стороны в сторону. «Бери, пока я добрый! Бери, тебе говорят!» — кричал Мишаня, злобный, беспомощный от жалости...

Мы навещали Фрица чаще всего после полудня, когда не слишком обременительная, как уже говорилось, бдительность часовых еще чуть-чуть притуплялась от солнца и медового воздуха.

Завидев нас, Фриц выдавал целую серию жестов, подмигиваний и гримас и вскоре с пустой тачкой направлялся к разбитому кирпичному особнячку, в правом крыле которого зеленела лопухами воронка (след прямого попадания), очень удобная для бесед.

— Гитлер капут! — сообщал он первым делом, как самую свежую и радостную новость.

Мишаня становился высокомерным.

— Капут-то капут, а где ты был раньше? — говорил Мишаня. — Сам небось за фашистов.

— Нихьт фашист. Найн. Хельмут ист айн арбайтер. Ра-бот-ший! — горячился Фриц, тыкая себя в грудь или показывая ладони.

— Кто тебя знает, — говорил Мишаня. — Да ладно, ладно, не мельтеши!

Разговор этот повторялся — из слова в слово — каждый раз, пока Хельмут-Фриц не успокаивался и не доставал чего-нибудь из кармана старенького комбинезона.

И не просто доставал.

— Тс-с! — шипел он, поднимая палец и указывая им куда-то вбок и вверх. Мы каждый раз «покупались»: прислушивались, вытягивали шеи.

— Алей-гоп! — кричал вдруг Фриц и давился от смеха. Он прыскал в кулак, хихикал, зажимал ладонью рот, но напрасно — его гогот пробил бы и не эту тоненькую, в рыжих волосках преграду.

— Фокус-покус, — говорил он, вытирая слезы, — йа, кляйнер фокус!

— Вот чудак, — смеялся Мишаня, — да покажи ты, что там у тебя!

А было это — глиняный свисток на три голоса, резиновая пищалка, смешной человечек из колючей проволоки, самодельный воздушный шар, уточка из воска: она плавала и ни за что не тонула.

Если игрушка нравилась, он сиял. Но стоило ему заподозрить, что подарок не имел успеха, и не сыскать было человека несчастней. Его и без того карикатурное лицо вытягивалось, он махал рукой и плелся со своей тачкой, как больной, как старик (а было ему девятнадцать лет, «нойнцен йаре», он каждый раз показывал это на пальцах).

В хорошие же дни он болтал без умолку, пока мы вместе наполняли кирпичами его тачку, насвистывал, напевал смешное: «Хайди-дель, дай-ди-дель, дё!», играл тихонько на губной гармонике, бывшей всегда при нем, хлопал нас по плечам, гримасничал.

На прощанье — если удавалось что-нибудь принести — мы совали ему кусок картофельной лепешки, луковицу, огурец. Он — белый, кожа прозрачная—краснел неудержимо, отмахивался непомерно длинными, обезьяньими руками, начинал по-немецки лаять и брызгать слюной. Но мы, тоже смущенные донельзя, совали свое угощение в тачку и убегали, не оглядываясь.

До сей поры для меня секрет — где он достал маленький, в палец длиной, толстый ножик с двумя лезвиями, ножничками, штопором и напильничком. С годами я оценил, какой жертвой была для него эта вещь, бесценная в неволе. Но и тогда нам с Мишаней подарок казался царским. Фриц — думали мы — не понимает, с каким сокровищем расстается, не соображает или же спятил. Мишаня даже назвал его по имени, Хельмутом. Только он говорил — Гельмут.

— И не думай, Гельмут. Ты хоть и немец, а мы не бессовестные. Не возьмем, и все тут. Правда, Васька?

— Н-да... ну, конечно, — мямлил я, не сводя глаз с ножичка.

Носили его мы с Мишаней попеременке, день — он, день — я. И ни разу никто из нас не пытался сжульничать, завладеть ножичком не в свой срок.

Мы долго думали, чем отдариться. И ничего придумать не могли. Помог случай.

Однажды Хельмут достал из кармана тряпицу, развернул ее. В ней были окурки. Если их так можно было назвать — жалкие остатки папирос и цигарок, докуренных и выброшенных бог знает когда. Ни одного порядочного «быч-

ка» здесь не было. Но Хельмут и тут выбрал каждую табачинку, каждую соринку, напоминающую табак, достал клочок газеты, закурил.

В этот миг во мне созрел преступник.

Потому что мне представился дядя Вася с огромной, вонючей «козьей ножкой» в зубах. Потому что я вспомнил о табачных листьях, всегда лежавших на перешейке печи, — дядя Вася брал эти тонкие, почти прозрачные сухие листья, и они ломались и рассыпались в его толстых желтых пальцах, а он крошил их еще и еще в круглую жестяную банку, — я все это вдруг увидел, и я еще ни на что не решился, и все было уже решено.

Главное, выбрать момент, когда дома у нас никого не будет. Правда, это было почти невозможно.

Мама, спасибо, была на работе.

И Евдокия Ивановна выскакивала частенько по хозяйству.

Но:

дядя Вася вечно сидел на низенькой скамеечке и клепал бесчисленные калоши;

младенец, само собой, кричал и веселился в избе безотлучно, а значит, —

была здесь и подозрительная, видящая меня насквозь («я тебя, Васька, насквозь вижу и даже глубже!») Нюрка.

Она, правда, вылетала пулей, вместе с младенцем, едва лишь в дверь просовывала голову одна из ее одноклассниц. Однако случалось это нечасто. (Видно, ее постное лицо и строго — точно как у матери — поджатые губы не только на меня наводили скуку).

Мы с Мишаней устроили военный совет. И однажды, когда моя мама была на работе, а Евдокия Ивановна ушла на целый день — в магазине давали мыло — к нам забежала Мишанина Светка. Блестя лукавыми глазенками, она доложила Нюрке, что ее зовут на канал Катя и Шура Сиворцева.

— А чего они сами не пришли? — подозрительно спросила Нюрка.

Светкино личико не дрогнуло.

— Они... не могут. Не могут они — Катька ногу сломала! — выпалила она и, слава богу, умчалась, не дожидаясь новых вопросов: была — и нет ее.

Должно быть, Нюрка учуяла неладное. Она думала, вздыхала, поглядывая на меня (а я — что? Я смотрел в потолок!), наконец, решилась. Взяла из люльки братца, ушла.

Почти тут же вышел Мишаня.

— А-а, Мишаня, — сказал дядя Вася. — Светка тут только что была, выскочила. Прямо метеор.

— Там человек стоит, — сказал Мишаня.

— Человек? Ну и пущай его стоит, — сказал дядя Вася пробуя на палец нож.

— Так это не простой человек, — сказал Мишаня. — Я так думаю, что он калоши пришел покупать, да не решается.

— А почему бы ему не решиться? — с сомнением спросил дядя Вася.

— Да он у калитки стоит, а войти не входит, — сказал Мишаня.

— Н-да... — сказал дядя Вася. — Пойти, нешто, посмотреть?

Едва отстучал по половицам его протез, едва скрипнула дверь, как я влетел на печку. Сердце обмирало и проваливалось, в глазах темно. Схватил, не глядя, листья, одну горсть, другую — и за пазуху, к голому телу.

Хлопнула дверь. Нюрка! Дышит тяжело:

— Вы что тут делаете?

Я, не обращая на нее внимания, взмокший и багровый:

— Нету, Мишаня, шапки. Что ты сделаешь — как сквозь землю!

Михаил равнодушно:

— Пойдем, что ли?

Придерживая рубаху у живота, спрыгиваю и — стрекача. Последнее, что я вижу, прикрывая за собой дверь: Нюрка лезет на печку...

Бывало за мной много всяких провинностей — такой не было. Но мы с Мишаней знали, на что идем.

Табак был высыпан в газету «Звездочку», раздобытую заранее. Я вспотел, и табачная пыль облепила живот, забралась в пупок

Все оправдалось, когда Хельмут увидел табак. Когда он охнул. Когда у него дрожали руки, свертывавшие цигарку. Когда он докуривал ее, смакуя до последнего, — уже и газеты не было видно, только огонь, как будто во рту у него вырос небольшой цветок.

Потом мы долго бродили по улицам. Делать было нечего, домой идти не хотелось.

Когда я боязливо зашел в избу, все казалось нормальным. Мама у окна штопала кофточку. Нюрка укачивала ребенка. Евдокия Ивановна гремела в сенях ведрами. Дядя Вася, слегка хмельной, сонно покачивался на своей скамеечке.

Я молча шмыгнул в наш угол, сел на кровать, взял первую попавшую книгу из маминых — «Анти-Дюринг». Читал непонятные слова, из-за книги посматривал: что будет.

Нюрка открыла рот. Постояла, раздумала, закрыла. Нет, снова — к маме.

— Ольга Сергеевна! А Васька у папы табак стащил!

— Что? — рассеянно спросила мама, думая о своем.

— Э-эх, не надо бы, — скривился дядя Вася и махнул рукой.

— Васька у папы табак стащил! На печку забрался и уворовал! — радостно блестя белками, сообщила Нюрка.

Мама медленно возвращалась из своих далеких мыслей, и, чем ближе она была к нам, тем испуганней и несчастней становилось ее лицо.

— Как стащил, как уворовал? — спрашивала она, подымаясь; кофта выпала у нее из рук, она на нее наступила.

— Этого не может быть, — сказала она, глядя пристально на меня, — этого не мо...

И осеклась, поняла, остановилась — так, будто у нее что-то отняли и защитить некому.

— Да не переживай ты так, Сергевна, — сказал дядя Вася. — Не хотел я говорить — эта, вишь, встряла. Гляжу, чего это они с Мишаней меня выпроваживают, что за секреты такие...

— Вася, зачем тебе табак? — мертвым голосом спросила мама. — Ты куришь?

— Они пленным фрицам жратву таскают. На Невельскую, — зачастила Нюрка. — Мне девчонки говорили.

— Э-э... Вон куда мой табачок пошел, — сказал дядя Вася.

— Это правда? — спросила мама. — Ну, спасибо, хоть врать не научился.

Молодец, сынок. Вот бы отец твой похвалил тебя. Он бы тебя похвалил, — повторила она и взяла меня за ворот рубахи — посыпались пуговицы. — Ай да молодчик, они у него отца убили, а он их за это потчует. Правильно, сынок, позаботься о них, они заслужили!

Она приблизила лицо вплотную к моему, волосы ее растрепались.

— Вон! Слышишь, вон отсюда! Не надо мне сына-вора, не надо мне предателя, ты отца продал, понял ты, понял ты, понял?!

Лицо ее было уже так близко, что я отпрянул и ударился затылком о стену. Мне было не больно — только страшно.

— Тетя Оля! Тетя Оля! Он не виноват! Это я! Это все я! Не бейте его, это я!

Так и есть: вбежал Мишаня. Я знал, он не уйдет, будет ждать, чем это все кончится.

— А-а! — сказала мама.—И ты здесь! Хороши оба. Скажу матери твоей— пусть и она порадуется. Да уйдете, вы? Ну?

Я поплелся за Мишаней, горбясь и волоча ноги. И последние слова ее были:

— Можешь домой не возвращаться!

VI

— Вот видишь, — сказал я Мишане. — Теперь мне жить негде.

— Я бы тебя к нам позвал, да меня самого мамка теперь выгонит, — откликнулся он.

Мы задумались.

— Слушай, — сказал Мишаня. — А старлей?

— Кто?

— Старший лейтенант твой. Он тебя звал?

— Мишка, ты голова, — обрадовался я. — Только ведь он в гости звал, а я — насовсем...

— Ну и что? Ты же не просто так. Ты служить можешь. Форму тебе дадут, пилотку, звездочку. Все тебе будут честь отдавать, даже генералы.

Получалось очень даже заманчиво.

— А ты?

— Что я...

— А клятва? Помнишь: куда ты, туда я. Помнишь? Ну, так я один с места не сдвинусь!

— Не примет он нас двоих. Тебе он друг, а я что?

— А я скажу ему: дядя Федя! Хотите доброе дело сделать, тогда берите и меня и Мишаню, а нет — никого! Да ты не бойся, ты ж веселый, ты им сразу понравишься. Нора Ивановна, знаешь, красивая, песни любит — во заживем! Только вот — как твои, а?

— А чего, мамке легче станет. Она с нами троими бьется, бьется, как рыба об лед, а никакого толку, мы ее скоро в могилу сведем. А тут харчи у меня будут казенные, одежу дадут. Конечно, скучать будет. И она, и Светка...

— А мы в отпуск приедем. Как зайдем, в форме, сапоги блестят, на груди медали, мама сразу пожалеет, еще прощения попросит...

— А то и нет, — сказал Мишаня.

Мы поймали Лидку, подружку Мишаниной сестры, и послали за ней, а сами остались ждать в «нашей» траншее.

Вскоре явилась Светка, еще не отдышавшись, выпалила.

— Там мамка твоя вместе с нашей плачут, говорят, безотцовщина, что ты хочешь...

— Ну вот, — сказал Мишаня, — так я и знал. Светка, сохранишь страшную тайну?

— Вы убежите, да? — спросила Светка и всхлипнула.

— Дура ты, — с досадой сказал Мишаня — это ж тайна.

— И совсем Света не дура, — неловко вступился я.

— Вот так,—хмуро сказал Мишаня. Ты—Ты им, смотри, ничего не говори, ни словечка. Мы тут к одному боевому товарищу едем. Может, в армию поступим. Платить будут — с первой получки пришлю. Можешь, значит, поцеловать мамку, как бы от меня, а если скажешь слово — гляди!

А мою мамку кто поцелует?

— Ну, салют, — сказал Мишаня.

— Прощай, Света, — сказал я. — Может быть, еще увидимся...

И пожал ей крепко-накрепко руку.

Светка заплакала.

VII

Только что окончилась — да окончилась ли? — война. Еще не вернулись солдаты из Германии, Австрии, Югославии, из Польши, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, а на Востоке нашим еще предстояло довоевать, дострелять, дополнить счет упавшим в этой войне, подкошенным на бегу — навсегда.

Голодно было в России. Точно все соки земли ушли в железную плоть самолетов и танков, в черное нутро снарядов и бомб. Развороченные города, обгорелые останки деревень, безвозвратные потери в каждом доме — если он был, дом.

Откуда же брались песни? Во всеобщей беде и разрухе они звучали, как никогда прежде, как никогда потом. Пели слепцы и безногие в вагонах железных долгих дорог, ревели над площадями репродукторы:

Загудели, заиграли провода...

пели, раскачиваясь, старухи-сказительницы в северных поморских селах; сыпали частушками скоропалительные военные свадьбы; тянули, перекликаясь из конца в конец страны, свою бесконечную «Рябину» вдовы, и мальчишки орали песню про Буденного, и новенькие молоденькие солдаты, пролетая на грузовиках, швыряли сверху:

Маруся,
Раз, два, три, калина,
Кудрявая дивчина
В саду ягоду рвала!

Может, от всеобщности беды и победы, оттого, что «на миру и смерть красна», рождались на губах эти песни?

А с песнями — старые сказки, языческие еще поверья, причитания немыслимой давности, былины и наигрыши, плачи и пророчества возникали, как ростки из семян, пролежавших тысячу лет без движения и вдруг проклюнувшихся, проросших.

VIII

Мы с Мишаней дали маху. В вокзальной сутолоке и давке парой пустяков было прошмыгнуть в вагон. И притаиться до гудка, оказалось, — не штука, и с видом полной родственности сидеть возле какого-то ошарашенного дедули — на все это у нас ума хватило.

Но поезд оказался скорым! А может, и не скорым, но, во всяком случае, в Петушках он останавливаться и не думал, наоборот, еще больше припустил и пролетел на всех парах мимо!

И вот паровоз, который так стремительно приближал нас к цели, теперь с еще большим пылом уносил нас от нее. Обидно было: хотелось схватиться за каждый убегающий куст, с каждым отлетающим назад столбом сердце екало. Хоть выпрыгивай на ходу! С досады мы и думать забыли о своей безбилетности, и тут же были выведены на чистую воду проводницей, которая уже глаз с нас не спускала до самой станции и там стояла и глядела, чтобы мы, не дай бог, снова не забрались в вагон.

Станция звалась Благодатка. Состояла она из маленького — под теремок — здания с дежуркой, кассой, комнатой ожидания; возле станции стояло еще два-три подсобных строения. Выехали мы часов в восемь вечера, сейчас было около десяти, смеркалось. Мы покрутились еще по перрону, но строго глянул на нас тощий мрачный дежурный в помятой фуражке — и нас будто бы ветром сдуло!

Жарким духом пота, пеленок, чеснока и вдобавок чего-то еще казенного, специально железнодорожного, шибануло нам навстречу, едва мы открыли дверь в помещение.

Человек шесть спали здесь в самых нескладных позах. Женщина кормила грудью ребенка; одна старуха сидела у стены и смотрела прямо перед собой, совсем не мигая. Четверо мужиков играли на чемодане в карты; бабка, помоложе первой, сосредоточенно ела, подставив под крошки горсть. И еще десятка два разных, молодых и старых, лиц мельком оглядели нас. Ни сесть, ни встать было негде. Но произошло неуловимое движение, и под окошком кассы возникло пространство, как раз нам с Мишаней впору: занять и не шевелиться.

Мы устроились и вскоре придышались, тепло стало, дремотно. С особенным молчаливым тактом как бы не замечены были неуместность и странность нашего появления. Сказано было лишь косвенно:

— Народ пошел — что перекати-поле. Осподи, куда несет, и старый и малый туда же...

— Нужда перекатит, — откликнулась нестарая бабка (она уже поела и завязывала цветастый ситцевый узелок). — Вон Митька Кривой, окромя своих

Заселков, другой и деревеньки не видал, а вишь ты, на шестом-то десятке избу продал, корову тож — в город подался!

— А я так считаю — что город? — подбавил из угла кто-то плохо видимый. — Мы-то и без города проживем, а вот они-то поди, попробуй! Конешное дело, они по радиво для нас поют-играют, а как в животе забурчит?

— Что за глупости вы говорите, — вступила в разговор женщина, сидевшая рядом с нами. — А тракторы, а плуги, а топоры, а гвозди, в конце концов! Да и в чем бы вы ходили, не будь города?

— Глупостев, это мы, конешно, дамочка, наговорить можем. А только бывалочи и сохой пахали, а бабка моя хоть сейчас на спор полотна наткет, не хуже вашего городского. А ты посиди без хлебушка, тогда вот и узнаешь, что с глупости, а что, может, и нет.

— Ты, батя, зря обижаешься, — произнес веско моложавый и чисто одетый, военной выправки человек. — Давно ли отвоевали? Может, бабка твоя и самолет построит? И артиллерию выдумает?

— Да я что? — сказал торопливо первый, и мне показалось, что он вдруг нивесть чего испугался. — Разве мы обучены как следовает рассуждать? Наше дело маленькое.

Помолчали. Кто-то широко, сладко зевнул, и, как всегда бывает, зевок этот пошел гулять от одного к другому.

В лампе, подвешенной на гвозде, кончался керосин: фитиль искрил, пламя стало коротеньким, синим и только изредка вспрыгивало на миг и жирно коптило. Потом и оно исчезло. Несколько раз еще возникала и пробегала по фитилю сине-зеленая змейка, потом в лампе пыхнуло, и стало темно. Тогда все, даже спящие, завозились в темноте, устраиваясь поудобнее.

— Лёха, а, Лёх? — сказал в темноте звучный и чистый женский голос. — Вот отгадай загадку — ни в жисть не отгадаешь.

— Ну? — сонно спросил Леха.

— Кто такое: два раза родился, ни разу не крестился, а черти боятся?

Слышно было, как опять зашевелились люди. Совсем рядом кто-то сказал:

— А ну-ка повтори!

Женщина, словно обрадовавшись, опять сказала:

— Два раза родился, ни разу не крестился, а черти боятся.

— Что такое? Хоть убей, не знаю, — шепнул Мишаня.

И, словно в ответ ему, раздался бас:

— Бывают загадки, что и отгадки нет, а ты тут голову ломай!

— И — эх вы — и мудрецы! — ласково и довольно сказала женщина. — Это ж петух!

— Вот и петух! А почему бы в таком разе и не лошадь?

— Говорю ж, петух! Два раза родился — один раз, значица, когда хохлатка яйцо снесла, а другой — как вылупился. А не крестился, так кто ж петухов крестит?

Мишаня не выдержал.

— Тетенька, а почему черти боятся?

— Дак, раньше считалось — как петух закукарекает, так вся нечистая сила и пропадет. Может, известное дело, и придумали что, по неграмотности...

— Сказки. Как раз детей пугать, — пробасил тот, в углу.

В разговор вступила старуха, наверное, та, что сидела все неподвижно.

— Вот и домовой, говорят, сказки. А меня ить он два раза душил. Хотите верьте, а нет — и не надость.

— Что ж он, домовой-то, на старую позарился?

— Во-он какой. По-твоему, што ли, я и родилась старая?

Посмеялись.

— А вот у нас был случай, — сказал в темноте новый, не участвовавший до того в разговоре, голос. — Пашку Лебедя с эмтеэса кто знает?

Никто не откликнулся.

Вспыхнула спичка, осветила усы, мясистый нос, широкие сросшиеся брови. Красным замерцала цигарка.

— Он с двадцать шестого года, Пашка-то. При немцах спервоначалу, можно сказать, пацаном был. Но пацан-то пацан, а чуть было не угнали его в Германию. Однако бог миловал. Скрывался он, бегал, говорят, у партизанов в связных, не знаю, врать не буду. И тут, значит, втюрился он в эту самую Глашу. Тоже ей шестнадцать лет, глазища черные, цыганские, коса голову назад оттягивает, губы, что клюквой намазанные. И все, что надо, —при ней. И такая у их любовь пошла, иначе как за ручку и не ходили, глаз друг от дружки, понимаешь, отвесть не могли.

— И главное дело,—удивился рассказчик,—стыда не боялись. Людям, известно, лишь бы языки почесать. И про них тогда разное гуторили: и такие они, и сякие. А к ним— не прилипает, ходят, как блаженные, земли под собой не чуют.

Тут наши пришли, освободили, и, значит, Пашка вызвался воевать идти. Года там ему не хватало, ну, взяли. Глафира, значит, его проводила, слезинки не пролила, а только задумчивая стала. Работу какую работает или там на посиделках и где бы то ни было — уставится в одну точку, задумается и сидит, то ли живая, то ли мертвая. Только и встрепенется, как письмо получит; дня два проходит веселая, а там, глядишь, опять сникла.

Теперь, значит Пашка. С полгода он повоевал, медалью наградили, а потом его осколком в ногу ранило. И так это удачно, аккуратно: пальцы как ножиком обрезало, а так все целое. В лазарете аж засомневались: не сам ли себя покалечил? Уже и расследовать начали. Ну, спасибо, пришли как раз дружки его проведать, чуть весь этот лазарет не разнесли: первого нашего храбреца, говорят, пошто срамите?

Подлечился он. Просился на фронт, да не тут-то было: списали его вчистую. И вот он домой возвращается, прихрамывает чуток. А перед тем как шла вся эта катавасия, не писал он Глафире долго. И тут никакой весточки не подал —дай, думает, сурпризом обрадую.

Вот посреди дня и входит он, живой-здоровый, к своей кралечке. А она глянула, руками всплеснула и на пол — хлоп. Глаза у ней закатились, не дышит.

— Неужто померла? — ахнул кто-то.

— Ты слушай, — проговорил недовольно рассказчик и снова зажег потухшую было цигарку. — Вот, значит, померла Глаша и померла. Два дня Пашка зверем ревел, никого к ней не подпускал, а на третий оттащили его,

самогоном напоили, чтобы отошел, значит, так вот. Обмыли старухи покойницу, и Пашка так убивался за ней, что весь народ навзрыд рыдал.

И почал он пить. День пьет, второй, третий. Вот на третью ночь и понесло его на кладбище, поплакать на ее могилке. Подходит, значит, и слышит — вроде стон из-под земли. Сперва подумал про себя: ну, допился. Нет, слышит, — стонут ее голосом. Из него весь хмель как вышибло. Бросился, руками землю раскидывает...

— А это она и стонала? — спросил женский напуганный голос.

— Вот какая догадливая. Она, она, кто ж еще? Не померла она, а сон у ней был такой... трагический. Разбросал он землю, гроб только что не зубами грыз — видит, Глаша его, живая, только что перепуганная насмерть. Взял он ее, братцы, на руки, и так, не опуская, три версты до дому нес, утешал все да успокаивал.

— А потом что?

— Что-то. Поженились они. Живут.

— Надо же. Ладно живут-то?

— Не хуже других-прочих. Только — поколачивает он ее.

— Бьет, значит, любит, — сказали басом в углу.

— Знаем мы вашу любовь, — не сердито, а опять чуть ласково сказала та женщина, что прежде загадывала загадку.

На этот раз молчали особенно долго.

— Пошли — сбегаем, — шепнул мне на ухо Мишаня. — А то боязно одному.

Вот человек! Мне, может, в сто раз страшней, а я б ни за что не признался.

Небо все было засыпано звездами. Сперва поглядеть, вроде бы их еще не так много. Но чем дольше вглядываешься, тем глубже небо, тем больше в нем звезд открывается, и там, где сначала одну видел, высыпает десяток. Сверкают звезды, горят, а на земле от них ничуть не светлее. Тьма, хоть глаз коли. Быстро, быстро заспешили мы обратно, в тепло, к людям.

Когда мы вошли и осторожненько стали пробираться среди спящих на свое место, говорила молодая:

— А что, правда, нет, будто в озере Китеж-град стоит? Будто и люди там живут, колокола звонят. Только видать его не всегда.

— Тю!

— Вот тебе и тю! Немцы будто бы взять его грозились, уже и подошли, и пушки наставили. Видят, вот он, город-то, старинный, да богатый. Стрелять почали, тут все ихние снаряды воротились да по ним и вдарили. А город пропал, как не было.

Я сразу и без раздумий поверил в Китеж. Само имя его, казалось, было всегда, сидело во мне, а теперь вспомнилось. Мишаня молчал, сопел в две дырочки, но я знал, что он думает о том же. Разыскать бы то озеро, а город нас примет, мы-то не фрицы, мы самые что ни на есть свои, и трубы заиграют, колокола зазвонят; ворота откроются нараспашку: добро пожаловать, не робейте проходите в Китеж-град!

Почти все уже спали, похрапывали, бормотали во сне. Вошел дежурный, с квадратным железным фонарем, посветил, снял и унес лампу, а вскоре принес снова, уже зажженную.

Старая бабка достала гребешок, расстелила платок...

Ох, как сразу голова зачесалась!

Мишаня сказал:

— Давай, что ль, поищемся...

До сих пор делать это позволялось только моей матери. Глаза у Мишани зоркие, пальцы тонкие, ловкие. «А, гадюка, а, гитлер!»— приговаривал он, казня злющих паразитов.

— А теперь ты, — сказал он.

И свершив этот акт взаимной дружбы и доверия, мы притулились к стенке и уснули, как провалились.

И я летел во сне по воздуху, и видел сверху Китеж-град, подводный, невидимый, и шли по нему, взявшись за руки, Паша да Глаша, смеялись и пальцем на меня показывали. Потом пропел некрещеный петух, все пропало, и я проснулся.

Это кукарекал Мишаня. В комнате ожидания никого не было, словно и вчерашнее все мне приснилось. Луч из окошка был битком набит пылинками; ужасно хотелось есть.

Как в сказке, Мишаня достал откуда-то и переломил лепешку.

— На ешь. Бабка дала. — И передразнил: — Вы никак, робята, голодные?

IX

Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет!

Это мы с Мишаней распеваем во все горло, чтобы заглушить мысль: «А как там дома?» Но ори, не ори, а на сердце кошки скребут.

Дорога тянется, кружит, то потеряется в траве, то опять обозначится на суглинке. Когда очень быстро идешь, то — почти как из вагона — видишь деревья, кусты, высокие травы, убегающими назад. А мы идем быстро.

Порядком утащил нас поезд от Петушков. Двенадцать километров возвращаться.

А солнце греет вовсю, ветерок наполняет легкие, с кровью разбегается, щекоча, по телу; голова наполняется птичьим свистом, кружится от сладости трав и цветов. Выйдешь на пригорок, ахнешь: по лугам ветер гонит волну, блестит и переливается в тальниках ручей, островами зеленеют березовые рощи, темнеет лес на дальней горе. Запомни это все, умри — лучше не увидишь. Но повернула дорога, и все повернулось, сверкнуло по-новому, по-иному. Совестно признаться, но все заботы вылетели у нас из головы.

Мы и не заметили, как углубились в молодой кудрявый лесок. И возле одного родничка:

— Привал! — сказал Мишаня.

Что там было?

А — ничего особенного. Просто вода ломила зубы и была вкусна невообразимо, просто обнаружились поблизости сыроежки и подосиновики, которых мы насобирали уйму, да бросили, потому что набрели на спелую малину; орешник нашелся тут же, в овражке, и хоть ничего в скорлупе, кроме кисловатой молочной мякоти, еще не было, мы и орехов посбирали; просто костер

трещал и искрил, и это была наша земля, которая накормит, согреет, не выдаст...

Чем ближе подходили мы к Петушкам, тем неохотней двигались ноги; на околице они и вовсе перестали слушаться.

— Ты сперва один пойдешь, — сказал Мишаня. — Ну, рассуди, кто я ему? Никто.

— А я? Мы всего один раз и виделись.

— Не в том дело, сколь вы виделись. Он тебя звал в гости? Звал. Так чего ты трусишь? Ты к другу приехал или к кому? Скажите, будьте добрые, где здесь красноармейский командир Костин живет?

Он жил рядом с солдатскими казармами. Только казармы эти — два длинных дощатых барака, покрашенные розовой краской, стояли за пыльным зеленым забором, а дом Костиных был снаружи, там, где забор кончался и начиналась лопухастая, извилистая, вся в собаках и курицах деревенская улица.

Мы взошли на крыльцо с резными перильцами, постучались. Дверь снаружи была утеплена войлоком и обита дерматином, как в учреждениях; крест накрест пересекали ее и очерчивали по краям шляпки красивых золоченых гвоздей. Стук, должно быть, замирал в этой двери и не был слышен внутри. Я совсем оробел. Тогда Мишаня рванул дверь, втолкнул меня — я ухватился за его руку и втащил его за собой в темную прихожую, и тут же в ноздри хлынул необычайно густой и вкусный запах печеного и жареного. Мы стояли, подталкивая друг друга.

— Кто там? На себя открывайте! — сказал мужской твердый голос.

Я нащупал ручку, дернул, дверь широко распахнулась, и мы на миг ослепли: так много солнца было в горнице.

Когда глаза привыкли, я увидел дядю Федю: он приподнялся из-за стола, перед ним стояла сковорода, в которой ослепительно сияли желтки глазуньи; половину он, впрочем, уже съел. Был он в яловых сапогах, в галифе и майке. Увидев нас, дядя Федя снова опустился на стул, взял вилку и стал есть яичницу: теперь мы увидели, что она пожарена с салом, нарезанным большими квадратными, теперь прозрачными от жарки ломтиками.

— Здравствуйте! — сказали мы.

— Нора! — крикнул дядя Федя, прожевав и проглотив порцию яичницы. — Тут к тебе пришли!

— Сейчас! — раздался голос Норы Ивановны из другой комнаты, вход в которую был завешен сверху и с боков.

Дядя Федя ел спокойно, не жадно, но быстро. Управившись с глазуньей, он стал отламывать кусочки хлеба. Насадив их на вилку, он аккуратно подчищал сковородку, так что она вскоре заблестела. На столе остались только крошки хлеба, он их подбирать не стал.

После этого дядя Федя приподнял сковородку и, передвинув подальше подставку от нее, снова опустил, а к себе пододвинул металлическую кружку и белую с красной розой сахарницу. Он достал один за другим три куска пиленого сахара и бросил их в кружку, потом поднял с пола синий эмалированный чайник, налил из него чай, ложечкой он долго размешивал сахар в кружке, потом подул на чай сверху и стал пить.

Тогда вошла Нора Ивановна, она была в красивом длинном цветастом халате. Она посмотрела на нас, затем на дядю Федю.

— Кто пришел? — спросила она у дяди Феди.

Мы покраснели и вместе сказали опять:

— Здравствуйте!

— А, так вы ко мне, мальчики, — сказала она, мельком оглядев нас с головы до ног, так что мы еще больше покраснели. — Если насчет школы, вы рано...

— Мы не насчет школы, — сказал я.

Дядя Федя встал, надел гимнастерку и портупею; он смотрел на нас с благожелательностью и легким любопытством.

Но я опять замолчал. Я только изо всех сил глядел то на дядю Федю, то на его жену.

— Так что же вы хотите? — спросил дядя Федя и немножко пожал плечами.

— Мальчик! А ты не ехал случайно с нами в поезде?

Мишаня толкнул меня в бок. А у меня во рту пересохло, ни слова не вымолвить.

— Ну да, — сказала Нора Ивановна. — Федя, ведь это ж наш старый знакомый!

Дядя Федя наморщил нос, припоминая.

— Ну, помнишь, еще песенки так смешно пел, — сказала Нора Ивановна, и было видно, что она гордится своей памятью. — Постой, постой... Тебя зовут... Вася, да? А тебя, мальчик? Михаил?

— Вот, оказывается, у них и язык есть. Ну, так, Вася и Миша, что скажете? — нетерпеливо спросил дядя Федя.

Я онемел, только вспотел от волнения так, что рубашка прилипла.

— Мы из Углова, — сказал Мишаня и тоже замолк.

— Ну, мне пора, — сказал дядя Федя. — Ты, Нора, расспроси их...

— Подожди, Федя, — сказала Нора Ивановна, — может быть, им ты нужен. Вы из Углова, а дальше? Ну что, так и будем в молчанку играть?

— Вы извините, — сказал я. — Пойдем, Мишаня.

Мы вышли. В носу у меня щекотало, глаза заволокло серым, но я крепился.

— Это все из-за меня, — сказал Мишаня. — Они ж тебя узнали, только не могут понять: то был один, а то стало два.

— Мишаня, — сказал я. — Вот честное-пречестное, чтоб мне сдохнуть, она сама мне говорила приезжать, сама звала, и старлей тоже, а я, как дурак, уши развесил, а они тут же все и забыли, вот веришь ты мне, скажи, веришь?

— Ты только не плачь, — сказал испуганно Мишаня, — конечно, верю, что ты думаешь, мы без них пропадем? Ха-ха!

— Эй, ребята! — окликнул нас дядя Федя. Мы обернулись. — Идите-ка сюда. Ну! Экие вы... Не съем же я вас!

Мы неохотно, медленно подошли. Он взял нас железными горячими пальцами за плечи.

— Вы с кем сюда приехали? И к кому? Мамки ваши знают, где вы? Молчите? Ну, ясно. Что же мне делать с вами?

— Ничего с нами не надо делать, — звонко выкрикнул Мишаня. — В гости человека зазвали, а сами... Эх, вы!

— В гости! Во-он оно что! — произнес дядя Федя. Думал он не слишком

быстро, зато основательно. — А я ведь тебя узнал (это — мне). Так. Пойдемте-ка в дом. Идемте, идемте, чего там!

Нора Ивановна успела переодеться и явно собиралась куда-то уходить. Нельзя сказать, чтобы наш вторичный приход ее заметно обрадовал.

— Нора, а ведь они к нам в гости, — сказал дядя Федя, — мы же сами им голову и задурили. Помнишь, с героем чаевничали? Ты ж сама и говорила, небось: заворачивайте, милости просим, ох, ах. А ребята вон разобиделись...

Нора Ивановна высоко подняла брови.

— Конечно, мы гостям всегда рады. Но послушай, мальчик, я тебя если и приглашала, то наверняка с мамой. Потом, прежде чем ехать, надо было предупредить. А вдруг бы нас вообще не оказалось дома? Между прочим, так оно и есть: и у меня, и у Федора Кузьмича сегодня срочные дела. И нечего обижаться...

Вовсе худо получилось. Лучше бы она меня не узнала.

— Разве я неправа, Федя? — сказала Нора Ивановна.

— Права, неправа — чего там! — махнул рукой дядя Федя, и мне показалось, что губы у него задрожали. — Хоть накормить пацанов ты могла бы? Учи-илка!

— Федя! — крикнула Нора Ивановна.

— После поговорим! — кинул он на ходу, увлекая нас за собой. — Пошли, пошли, чего-нибудь да придумаем...

Мы двинулись вдоль забора, мимо больших железных ворот, к которым был пристроен крохотный домик, и молодой солдат с красной повязкой на рукаве отдал нам честь и молча пропустил нас по коридорчику в другую дверь, которая открывалась опять на улицу, но уже с другой стороны забора. Здесь был большой вытоптанный, без единой травинки пустырь; по правую руку на нем стояли два розовых барака, которые мы уже видели снаружи; прямо перед нами была полоса препятствий с бревном, дощатыми барьерами, окопчиком и чучелом врага, а в конце стоял дом, на котором была надпись: «Столовая».

Дядя Федя привел нас к бараку. Перед ним четырехугольником стояли скамейки, и внутри квадрата была врыта в землю железная бочка, а в ней, на песке, валялись окурки. На скамейке сидели солдаты; они курили и смеялись, но встали и вытянулись, увидев нас, и дядя Федя сказал им «вольно!» — и они снова сели, стали курить и смеяться, уже потише.

Мы вошли в казарму. Там после коридора открывалась одна огромная комната, и вся она от начала до конца была уставлена двухэтажными железными кроватями. В казарме было много солдат, и один из них, ближний, крикнул: «Встать, смирно!» И стал быстро-быстро говорить: «Товарищ старший лейтенант, за время моего дежурства никаких происшествий не произошло, личный состав роты готовится в наряд, дежурный сержант Горохов». И дядя Федя сказал «вольно!», и тогда все люди, какие были в казарме, сели, как сидели, или встали, как стояли до этого, и стали заниматься своими делами: чистить замасленными тряпочками оружие, пришивать что-то к своей одежде, бриться, начищать пуговицы и бляхи у ремней, и все весело поглядывали на нас.

— Слушай, — сказал дядя Федя Горохову, — я к тебе, знаешь, кого привел? Певцов. Они тут такого тебе напоют — ого-го! Ты только накормить их не забудь, понял?

— Так точно! — сказал Горохов и добавил: — Чего тут не понять? Дело ясное.

И тогда дядя Федя пошел к выходу, и Горохов еще добавил:

— Дело ясное, что дело темное, — и похлопал по плечу Мишаню, потому что он ближе к нему стоял.

Тут дядя Федя совсем ушел, и сразу нас обступили солдаты, и все заговорили наперебой:

— Вы откуда, хлопчики?

— Что за певцы у нас объявились?

— Так то ж новобранцы!

— Хо-хо, Фролов, к тебе в отделение!

— А что, и возьму!

— Тихо! — крикнул Горохов.— Подняли тут содом. Вас как звать-то? Ну, вот, Мишаня и Вася. Только честно: вы рубать здорово хотите?

— Да нет, не то, чтобы очень... — промямлил я.

Но Мишаня меня перебил:

— Подкрепиться бы не мешало, — сказал он почему-то басом.

И после этих его смешных слов почему-то никто не засмеялся, а все притихли и погрустнели.

И Горохов сказал:

— Рядовой Вантула! Петро, слетай на кухню, може чего от обеда осталось.

Но уже спешил к нам усатый и толстый дядька, голый до пояса, приговаривая:

— Кухня-то кухней, а и сальце не помешает... — говоря это, он мигом застелил газетой тумбочку, стоявшую между койками, и, точно фокусник, достал откуда-то и выложил на нее здоровенный шмат украинского сала и нивесть откуда взявшимся ножичком нарезал его, и в это время:

— Отойди! — сказал солдат совсем маленький и кудрявый, и выставил на тумбочку банку свиной тушенки, и только успел открыть ее, как кто-то подложил сюда же вареные яйца, кто-то — селедку, кто-то — облепленные табачными крошками куски рафинаду...

— Ну, куркули,.. — сказал Горохов, покачивая головой, довольный донельзя.— Ну, куркули, ничего не скажешь. Объясни хоть ты, Рыжов, где ты яйца свистнул?

Что-то ответил Рыжов, а что — не разобрать, потому что все разом грохнули, а мы уже выполняли команду сержанта «навались, братва!» и уплетали все подряд, и солдаты, отсмеявшись, стояли вокруг, молодые, загорелые, с белыми зубами и смотрели, смотрели, смотрели на нас тихо, неотрывно, ласково, как, бывает, матери смотрят...

Пришел рядовой Вантула с котелком горячей гречневой каши. Мы съели еще по паре ложек и отодвинули котелок с сожалением: больше не лезло.

— Что, хлопчики, — сказал давешний, маленький и кудрявый солдат, — подзаправились, теперь и спеть можно? Покажите, какие вы артисты.

— И-ишь, голова, — укоризненно сказал усатый, — после такой работы — какие же песни? Отдохнуть треба.

— Артисты такой народ, — сказал кто-то, — на голодный живот петь не могут, а на сытый не хотят.

— Много ты понимаешь, — сказал усатый. — Вы лучше скажите, хлопчики, как вы до нас попали? Случаем, не воевать хотите?

— А что? — сказал Мишаня. — Мы бы, знаете, как старались!

— Вон как! — протянул усатый. — С кем же вы воевать собрались, вояки?

— С кем вы, — сказал Мишаня.

— Во отбрил, — засмеялись вокруг.

Усатый погладил меня, потом Мишаню по голове. Он не смеялся.

— Надо будет — и повоюем, — сказал он. — А лучше — не дай бог. Послужить-то мы еще послужим. Чтоб ни одна вражина вас, пацанов, не сиротила. Чтоб ваша жизнь была не как наша. Э, да что там!

— Встать! Смирно! — крикнул наш знакомый Горохов.

Это вошел дядя Федя.

— Вольно, вольно, — сказал он. — А ну, герои, марш со мной. Мамки вас потеряли, всю милицию на ноги подняли... Живо, ребятки, живо, машина ждет!

Мы толком не успели ни с кем проститься. Дядя Федя хотел что-то сказать, но только обнял, облапил обоих огромными ручищами:

— Езжайте. Чего там!

И мы ехали в кабине грузовика, ошеломленные, виноватые и гордые, тайно мечтая, чтобы все пацаны Углова попались нам навстречу и увидели, как мы, словно начальники какие, едем рядом с шофером в этой жаркой, тряской, высокой кабине.

Упреки, поцелуи, слезы, — все это вперемешку обрушилось на меня дома.

А Мишанина мать всыпала ему ремня.

X

Углово — городок железнодорожный. Живут в нем машинисты и кочегары, стрелочники и прицепщики, диспетчеры и кладовщики, рабочие двух депо — паровозного и вагонного. Сутками напролет пыхтят у вокзала, пускают пар, пьют воду, переговариваются паровозы: старенькие «кукушки» и «овечки», мощные ФД и «Иосиф Сталин». Особенно приметный, тоскливый и тоненький голосок у маневровых «кукушек»...

По вечерам парни, захватив длинные палки, подкрадываются к товарняку. Открывают крышечки на буксах, обмакивают палки в мазут и — давай бог ноги. А там, отбежав подальше, поджигают мазут, — улицы шарахаются от света, хохота, песен.

И мы с Мишаней тут как тут. И у нас в руках факелы, и мы горланим что-то, сами себя от восторга не слышим...

Мы — Мишаня и я — записаны в железнодорожную школу № 2. А школы нет. Она еще только строится.

В третий выходной июля — воскресник. Пришли парни-старшеклассники, пришли, вздыхая, родители, появились шефы из депо. Настроение не очень-то: у всех своих дел по горло. А тут еще прораба не доищешься, мастерков не хватает, машина не успевает кирпич подвозить. На нас с Мишаней шикают:

— Чего под ногами путаетесь? У, шпанята!

— Сами вы... — разозлился Мишаня.

— Что-о-о! Давно мать не лупила?

Но мы уже далеко.

— Хватай носилки, — кричит Мишаня. — Бежим!

Через двор от стройки — развалины психбольницы. Говорят, больных не успели вовремя эвакуировать, немцы увезли их за мелькомбинат и, экономя патроны, живых закопали в землю...

Люди избегали здесь бывать, и потому кирпич оказался в изобилии, его было видимо-невидимо, красного и белого, только успевай выбирать. Мы тащим бегом полные носилки.

— Бросьте, надорветесь, — говорит жалостливый женский голос, а мы — ноль внимания, бегом обратно; пацаны — Федька и Кузя, и оба Володьки, смотрят на наши носилки с завистью, и уже:

— Молодцы, хлопцы, — кидают нам, а мы в третий раз бегом туда же.

— Чего рот разинули, — пищит Мишаня ребятам. — Становись в цепочку!

Откуда только прыть взялась! Все наши стоят уже от больницы до школы, кирпичи летают из рук в руки, пот капает на землю, из носа течет некстати — ничего — лови, не зевай — так, робя, — ого-го, давай, жми, — еще раз — ай да пацаны — поднажали — молодцы ребята — небо взлетает и падает — как весело, здорово как, люди!

Что за лица у всех после такой работы! У парней — понятно, но у пожилых мужиков, у женщин, замученных заботами, какие лица, какие глаза, словно им подарили, что-то преподнесли такое большое, такое нежданное, и они вот только что удивились, обрадовались, ахнули.

Мы бежим к речке, мы прыгаем вниз головой, солдатиком, с места, с разбегу, мы брызгаемся и «крутим мельницу», ныряем до посинения и потом, мокрые, идем с Мишаней к Гусевым: мы обещались сегодня быть.

С Гусевым мы познакомились случайно: надергали морковки, а это оказался их огород; Александра Львовна нас увидела, завела к себе, а там расспросила о родителях, накормила и взяла обещанье приходить.

Александр Андреевич Гусев был капитаном милиции, его жена, Александра Львовна, служила там же, она ведала секретными бумагами.

Дома командовала Александра Львовна. У нее были коротко подстриженные седеющие волосы, узкое лицо, быстрые и резкие движения; она курила «Казбек» и говорила, как двигалась,—резко, энергично, отрывисто. Александр Андреевич казался мягче, спокойней. Фигура его, тонкая в талии, книзу расширилась чуть больше, чем это привычно; руки у Александра Андреевича были красивые, с белыми нежными ладонями и круглыми ногтями, а голос — тихий.

У Гусевых не было детей. Они тосковали, но никто всерьез их горю не сочувствовал. Дети — вот уж чего хватало в Углове. Три детдома были забиты до отказа: отцов поубивали немцы, матери попали под бомбежку или так умерли, а дети остались. А сколько вдов мучилось с оравой голодной ребятни!

Не знаю, почему Гусевы не взяли себе ребенка из детдома—это, говорят, разрешалось. Наверное, служба не позволяла. Вместо того они привязались к нам с Мишаней. Особенно к Мишане. Я, бывая у них, как-то сразу менялся,

становился степенным и чинным. А Мишаня пищал и проказил, как всегда, на него не действовали ни скатерти, ни ковер, ни книги в шкафу, толстые, с золотом на корешках. Дошло до того, что я на него шикал, а Гусевы посмеивались и разрешали ему все — даже настоящий пистолет Александр Андреевич давал ему в руки, правда, без патронов. Я не обижался. Что они так любят Мишаню — это я вполне понимал.

Гусевы могли с нами долго разговаривать, и, о чем их не спросишь, все они знают. Только о своей работе они никогда не говорили. Да и про наши дела не очень любили слушать. Однажды я начал рассказывать им про Пудика, приемщика утиля с базара. Александр Андреевич сперва вроде бы заинтересовался, но Александра Львовна меня перебила:

— Знаешь, что? Хочешь говорить, говори о себе. А сплетни, да еще о взрослых, нас не интересуют нимало. Так ведь, Александр?

— Так, — сказал, вздохнув, Александр Андреевич и поцеловал жене руку.

Я на «сплетни» обиделся и с неделю дулся, а потом — ничего, прошло.

После воскресника и купания мы прибежали к Гусевым веселые, запыхавшиеся.

— Ох, какие вы сегодня, — сказала Александра Львовна. — А Александра не будет. Чаю хотите?

— Хотим! — крикнул Мишаня. — Я один могу самовар выдуть!

— Не слушайте его: хвалится! — сказал я.

— Что-о? — возмутился Мишаня. — Давай на спор, что я больше тебя выпью!

— Давай!

Ого, это было почти как второй воскресник! Чашка за чашкой, и еще, и еще по чашке, Александра Львовна только успевает подливать, подвигать сахарницу, подкладывать пирожки, у нас уже пот на лбу, а Мишаня все не сдается.

— Хватит, обопьетесь, что за спорт такой! — говорит Александра Львовна и, кажется, не на шутку начинает сердиться, а мы вошли в раж:

— Еще одну! Еще чашечку!

— А я две!

Победил все-таки я.

Мама, узнав о нашем состязании, пришла в ужас.

— И вы все время пили с сахаром? Злодеи, вы их разорили! И с пирожками? Грабители! Бандиты с большой дороги!

А сама смеется.

XI

Мама повеселела!

Началось это в тот день, когда она получила сердитое и грубое письмо из Юридического института. Она, как я теперь понимаю, училась там, в этом институте, заочно до войны и почти закончила первый курс. Но какие-то за ней остались тогда долги, какие-то несданные зачеты.

Потом была война, эвакуация, смерть мужа, гибель и возрождение народов; глухие и контуженные птицы нелепо кувыркались над полями боев,

голос московского диктора Левитана прошел долгий путь от скорби до ликования, жизнь и смерть перемешались и переплавились в одном огне.

После этого маме пришло письмо. В нем говорилось раздраженно и сухо, что если студентка К. не сдаст в такой-то срок такие-то зачеты, она будет немедленно отчислена из института за неуспеваемость.

Читая это нелепое, бездушно-казенное, знать ничего не знающее, чудесное письмо, мама плакала.

Она поверила, что с войной покончено. Что жизнь не только позади, но и впереди тоже.

Она помолодела в несколько дней.

Я жил тогда без воспоминаний; память работала только впрок. Почти все, что я видел и узнавал, было впервые. Тогда, глядя на маму, я почувствовал, какие невозможные силы, какая лавина радости хранится в людях про запас.

Мы, бывало, ловили ящериц в разогретых солнцем камнях. Иногда в руке оставался только чешуйчатый хвостик. А через неделю мы узнавали знакомую ящерку по новому, только что отросшему, более светлому, чем все ее гибкое тельце, хвосту.

То, что я видел, было чудесней. Сравнение, может быть, грубовато, — но это было, как если бы от кончика оторванного хвоста вдруг выросла непонятным образом новая ящерица.

В маминых карих глазах появилось по крохотному светильнику. Лицо ее сразу похорошело, движения стали стремительнее и мягче. Она часто теперь смеялась, смех был мне незнаком. Вокруг нее возникло почти ощутимое магнитное поле, люди это чувствовали, подходили просто так — скажут несколько слов и дальше идут, улыбаются.

Светлее, дружелюбнее стало в избе, где мы снимали угол.

— Чего я скажу, Сергевна, — не обидишьси? — говорила хозяйка. — Мужика тебе надо хорошего, чтоб в узде тебя держал. Ты не смейся, не смейся, это ж надо, такая красавица ходит, людей баламутит. А что, ай приглядела уже кого?

Мама запрокидывала голову, мама смеялась.

— Бог с вами, Евдокия Ивановна, кому я нужна, такая старуха, да не сержусь я на вас, да нет же, ничуть не сержусь!..

XII

На карнавале,
На карнавале
Вы мне шептали,
Да, да, шептали:
«Я вас люблю».
Был я тронут нежной лаской,
Но, поймав коварство в глазках,
Снял я с вас мгновенно маску —
О-о-о!
Под маской леди
Краснее меди
Торчали рыжие усы!

Без конца, ну, прямо без конца крутит эту пластинку мужик, продающий патефон. Не только люди, а, наверно, все лошади, собаки, козы, поросята и голуби на базаре запомнили хлесткий голосок певца, и музыку, и смешные слова все до единого.

На угловском базаре можно купить и продать все: корову, иголку, лепешки и облигации, тельняшку, семечки, папиросы, яблоки «белый налив», подметки, фикус, ухват, капусту, калоши.

Калоши продаем мы с Мишаней. Дядя Вася сказал: «Вы передо мной виноватые? Виноватые. Я на вас зло держу. Вы вот ступайте, загоните калоши, а я возьму бутылец и вскорости вас прощу».

Ну что ж, на базаре нам бывать не впервой. Не было дня, чтобы мы не заглянули сюда. Здесь была лавчонка Пудика, где он сидел и принимал металлолом. Сколько тяжестей мы перетаскали сюда, сколько мотков медной проволоки, самолетных обломков, снарядных гильз и прочего добра! Пудик хитрый: притащишь с ребятами здоровенную железяку, он говорит:

— Чего это вы приперли? Это мне не нужно. Несите обратно.

А кто ж ее обратно потащит — тяжело! Оставляем груз рядом с лавочкой, наутро глядим: нет нашей железяки. Пудик прибрал!

А после того случая в землянке, когда Мишанина мать с ним поругалась, Пудик вовсе у нас с Мишаней ничего не брал. Как увидит нас, кричит: «Закрыто, приема нет!». А через пять минут у других все подряд принимает. Не драться же с ним! Плюнули мы на эту лавочку. Нашлось другое дело.

В когизе, тут же, на базаре, продавались красивые открытки. На них были изображены розы, сирень, всякие картинки. Мы однажды купили пару таких открыток. Только вышли на базар, бабка какая-то:

— Ой, красота какая! Почем штука?

— Два рубля! — сказал Мишаня и подмигнул мне.

— На, милок, держи!

— Мишаня, — сказал я, когда мы уже четыре раза сбегали в когиз и распродали десятка два открыток. — Мишаня, а ведь нас в тюрьму могут запросто посадить, мы ведь с тобой спекулянты.

— Мы? Спекулянты? — возмутился Мишаня. — Да мы, наоборот, спекулянтов наказываем. И тетке из когиза помогаем. К ней никто не ходит, что им когиз? Им бы только кошель набить!

В тот день мы купили на базаре зеркальце для Мишаниной мамы, большую картофельную лепешку, стакан привозных семечек. А вечером мы были у Гусевых, и Мишаня завел разговор.

— Александра Львовна! — сказал он. — Вот, например, на базаре есть когиз, и в нем продают открытки. А мешочники туда не ходят. И вот если один человек или там два человека купили открытки, а тетки на базаре эти открытки увидели и пристали: продайте да продайте, сколько хочешь дадим. И, например, эти люди решили продать эти открытки по два рубля, ведь все равно у спекулянтов денег много...

— Что-то ты долго рассказываешь, — сказала Александра Львовна. — И скучно. И путано. Но, вообще-то говоря, мне не нравятся эти два человека. Во-первых, не все на базаре спекулянты. Во-вторых, так со спекуляцией не борются. Скажи этим людям, что если к чужой подлости прибавить свою, то вместо одной подлости получится две. Ты согласен со мной, Саша?

— А? Как всегда, Сашенька, как всегда, — сказал, встрепенувшись, Александр Андреевич.

Когда мы вышли на улицу, Мишаня достал зеркальце и с размаху трахнул его об стенку.

— Зеркальце-то при чем? — сказал я.

— Ничего,— сказал Мишаня. — Я новое куплю, еще лучше...

Да, на базаре мы бывали частенько, а в этот день мы стояли и продавали дяди Васины калоши из красной резины.

Как всегда, мелькали вокруг черные и белые платочки старух, старые гимнастерки, деревенские полотняные штаны и полосатые рубахи, слышались ругань и смех, и пьяный говорок у чайной, и песенка «На карнавале» временами перекрывала все, и вдруг...

Словно из сказки, из другого мира, из волшебного кино, явились, — может, просто с неба спустились? — шестеро. И впереди шла пожилая женщина с гордым и властным лицом, черный шелк открывал ее прекрасную белую шею и руки, а там струился от плеч и почти до пят. И девушка в чем-то белом и розовом, воздушном и сияющем, с белокурыми локонами и голубыми глазами, пританцовывая, шла следом. Высокий человек в тупоносых сверкающих туфлях, в брюках со стрелками, в пестрой — зарябило в глазах — нерусской рубахе и вдобавок в золотых очках, поддерживал под руку еще одну красавицу с глазами, обведенными синевой, с длинными ресницами, с алым ртом, одетую в костюм сине-зеленый, переливающийся разными оттенками на ходу. Еще две женщины, помоложе и постарше, — у одной руки были в перстнях и кольцах, другая помахивала легким изящным зонтиком — замыкали шествие.

Толкучка на базаре прекращалась там, где они проходили, шум стихал. Одно слово — шепотом — летело перед ними, и слово это было:

— Артисты... артисты... артисты...

Слепящее и невероятное это явление приблизилось к нам и остановилось.

— Такие маленькие и уже торгуют, — произнесла женщина в черном таким теплым, глубоким голосом, каких я до того не слыхал.

— Сколько вам лет, мальчики? — спросила звонко бело-розовая девушка.

Я вдруг охрип.

— Ну, девять, — почему-то враждебно сказал Мишаня.

— Девять лет, — сказала первая женщина и многозначительно взглянула на остальных, тоже приостановившихся возле нас. И все взглянули на нас и друг на друга как бы с той же невысказанной, но важной и глубокой мыслью и двинулись дальше, оставив после себя незнакомый нежный запах духов, привкус тайны.

А ведь мы знали, что в Углово приезжают московские артисты. Об этом извещали афиши, которых нельзя было не заметить: мы впервые видели печатные буквы такой величины. Но одно дело знать, а то — увидеть: другие люди, из другого теста, из другой жизни, неведомо какой.

Это так я чувствовал. Мишаня в этот раз, на удивленье, не был со мной заодно.

— Подумаешь, расфуфырились, — сказал он неодобрительно, — посмотреть еще надо, какие они артисты.

XIII

И посмотрели.

Трудно и все-таки возможно понять, почему народ ломился в Дом культуры, почему аплодисменты взрывали старенький зал. Для тех немногих угловцев, кому приходилось до войны бывать в театре, в нем было возвращение того, что — не раз за эти годы казалось — не вернется. Для других театр был открытием. А главное, его сказочная позолота, страсти, слезы и смех, бушевавшие на сцене, сверкали вдвое ярче в сравнении с только что пережитым — с боями, голодом, оккупацией, войной.

Только Мишаня не поддавался. Может, потому, что любил смеяться и плакать сам, а не глядя на других. А может, было у него предчувствие, что все это плохо кончится, и очень скоро.

Я надоел Мишане, Светке, Гусевым, билетершам, маме — я был на всех спектаклях, запоминал и выкрикивал целые монологи, размахивая при этом руками, я начал бредить во сне, — все это было чересчур; мама, польщенная и встревоженная, решила, что клин клином вышибают, и повела меня в гостиницу к актерам. Может, месяцем раньше ей это и в голову бы не пришло, но сейчас жила в ней деятельная и веселая бесшабашность: была не была!

Второй день в Углове стояла духота. Ни один лист на уцелевших деревьях не шевелился, полумертвые собаки лежали в тени, высунув мокрые красные языки, даже вода в реке стала теплой и не освежала.

Гостиница была одноэтажная и напомнила мне казарму: так велика и сплошь заставлена койками была комната, в которую меня после предварительных недолгих переговоров ввела мама.

Актеры изнывали от жары и скуки; три женщины лениво переговаривались, двое мужчин, зашедших, видимо, в гости, играли у окна в шахматы.

Старуха — та, что видела нас с Мишаней на базаре, отложила книгу, сказала:

— А, старый знакомый.

— Вот, привела вашего страстного поклонника, — ничуть не смущаясь, сказала мама.

— Тебе в самом деле нравится театр? — покровительственно улыбаясь, спросила актриса.

— Что ж ты молчишь? — спросила мама. — Поверите ли, всех замучил разговорами о театре. Он целые сцены наизусть шпарит.

— Вот как? — спросила актриса, поднимая тонкие подрисованные брови. — Может быть, ты нам что-нибудь прочтешь? Ну-ну, дружок, не волнуйся. Все здесь свои.

И тогда я решился. Я вскинул руки. Прижал их к лицу. Простер перед собой.

— «...Не может быть! Не может быть! — закричал я. — В небесной оболочке не может скрываться сердце дьявола...»

Тут я схватился за сердце.

«И все же... если б даже все ангелы слетели с горной высоты и поручились за ее невинность, то все же это ее почерк. Неслыханный, чудовищный обман, какого еще не знало человечество!»

Я пробежал по проходу между койками к окну и обратно, схватил сво-

бодный стул и трахнул им об пол — точно так, как я видел, делал в этот момент актер на сцене.

— «Вот почему она так упорно не хотела со мной бежать! Вот причина, боже мой! Теперь я прозрел, теперь мне все стало ясно! Вот почему она отказалась от моей любви, отказалась столь самоотверженно, что я чуть было не дался в обман этой личине ангела!..»

Я снова воздел руки ввысь.

«О, если ложь так искусно умеет перекрашиваться, почему же ни один бес до сих пор не пробрался в царство небесное! Счастливый безумец, я воображал, что в ней заключено все небо, нечистые желания во мне умолкли, в мыслях у меня были только вечность и эта девушка... Боже! А она в это время ничего не чувствовала? Ничего не сознавала, кроме того, что ее дело идет на лад? Смерть и мщение! Ничего, кроме того, что ей удалось меня провести?..»

Я уронил голову в ладони и глухо зарыдал.

Мне показалось, что не удержались от слез и остальные. Да, я слышал звуки сдерживаемых рыданий...

Я отнял руки, поднял глаза...

Все, все до одного смеялись.

Повизгивала девушка, колыхалась от смеха старая актриса, хохотали, держась за живот, оба шахматиста, тряслись, постанывали, вытирали слезы две незнакомые мне женщины, смеялась, откинув назад голову, моя мама.

Красный, как рак, сжав кулаки, я выскочил из комнаты, хлопнув дверью, и тут же, прислонясь к стенке, расплакался по-настоящему.

— Ну что ты? Ну что ты, дурачок! На, высморкайся. Всем очень понравилось, смеялись не над тобой, не плачь, Васенька, ну, успокойся! — гладила меня, ласкала, утешала мама. — Прошло? Вот и хорошо. Пойдем, тебя ждут.

— Не пойду я к ним.

— Пойдем, неудобно. Не можем же мы уйти не попрощавшись!

В комнате уже никто не смеялся, когда мы вошли. Один из шахматистов, темноволосый, невысокий, серые глаза чуть навыкате и губы большие, влажные, красные, сказал маме:

— А ведь ваш мальчик мог бы нас здорово выручить. Понимаете, у нас есть в репертуаре спектакль «За океаном». Отличная вещь, зрителя до слез пробирает. Но — вы заметили? — здесь мы ее не показали ни разу. Дело в том, что там есть роль десятилетнего мальчика, Генриха, а в нашей труппе такового не имеется. Его играла Лариса, — он кивнул в сторону девушки, — но она у нас что-то пополнела, хе-хе! И за Генриха уже не сойдет. Если бы вы отпустили мальчика с нами на месяц-полтора, то на обратном пути мы вам вернули бы его в целости и сохранности. Решайтесь, а?

— Прежде всего, — сказала старая актриса, — нужно спросить самого мальчика, устраивает ли его наше общество?

Все взгляды обратились ко мне. Я пробормотал:

— Да еще как...

Сердце мое колотилось оглушительно.

— Как же так? Вы серьезно? — спросила мама, растерянно озираясь по сторонам. — Мы же почти незнакомы...

— Ну, разыскать нас нетрудно, — сказал темноволосый. — Мы хоть и

живем по-цыгански, а детей не крадем. Маршрут наш известен, и, вообще, организация мы вполне официальная. А познакомиться, разумеется, следует. Левин Илья Арнольдович. Директор труппы.

Мама тоже назвалась.

— Но это невозможно, — сказала она весело и потому неубедительно, — через месяц мальчику идти в школу.

— А мы и приглашаем его на месяц-полтора. В какой класс он идет? Во второй? Ну, если он и пропустит неделю-другую, большой беды не будет, наверстает. Искусство, как известно, требует чего? Вот именно, жертв. Ну, и потом, вы знаете, в тех местах получше с питанием...

— Но вы даже не проверили его как следует, — сказала мама, окончательно сдаваясь.

— А это мы сейчас сделаем. Лариса, голубчик, позовите, кто там есть во втором номере, сейчас состоятся конкурсные испытания. Итак, мой дорогой, ваше имя, фамилия, возраст? Ну-с, что вы сможете показать кроме шиллеровского Фердинанда, от которого мы все в таком восторге?

Я читал стихи, рассказывал сказки, пел песни, потом по просьбе актеров, обрадованных неожиданным развлечением, изображал боксера, рыбака, счетовода и, наконец, уже по своей инициативе, показал, как я умею ходить на руках.

Опять колыхалась от смеха старая актриса:

— Боюсь, что это... что это ни в одном спектакле не понадобится! Ну, вот что, — сказала она, утирая платочком выступившие на глазах слезы, — меня зовут Екатериной Алексеевной, и я буду твоей театральной мамой, если, конечно, твоя настоящая мама не возражает. А теперь, я думаю, и вам и нам пора отдохнуть. Приходите завтра, пораньше, часов в двенадцать...

Мы распрощались.

Казалось, на улице стало еще более душно и жарко, хотя это вряд ли было возможно. На что уж я был радостен и окрылен, но и меня на полдороге сморило. С маминого лица тоже исчезло обычное в последние дни выражение беспричинной радости; она дышала с трудом, то и дело вытирала платком лицо, на лбу у нее проглянули морщинки. Похоже было, что она жалела о нашем походе в гостиницу...

Ночью я вдруг проснулся. Мамы рядом со мной не было. Мне показалось, что я ослеп. Тяжелый гул раздавался в кромешной тьме, чьи-то стоны и вздохи, неясное бормотание. Вдруг голубоватый, ярчайший свет озарил избу; я успел увидеть Нюрку и маму, почему-то державшую ее за плечи, хозяйку, стоявшую на коленях и быстро-быстро осенявшую себя крестом. Свет погас, и тут же раздался страшный удар. «Господи, спаси и помилуй!» — вскрикнула Евдокия Ивановна. Проснулся и залился плачем ребенок. «Ой, я боюсь, ой, что будет!» — ныла Нюрка. Все напоминало дикий неправдоподобный сон; мне стало жутко.

Я вскочил с кровати, подбежал к маме.

— Не бойся, это гроза, — сказала она и погладила меня по голове, провела по лицу теплой, сонной рукой.

Теперь я увидел в окне розовую, вдоль всего неба ровной ниткой молнию; опять ахнуло, но глуше, чем в первый раз, и пошло громыхать все дальше и дальше. Я закрыл глаза; розовые и синие змеи вспыхивали под веками.

Ливень гудел, как тяжелый поезд, молнии сверкали, раскалывали и перечеркивали небо. Не успевали стихнуть раскаты одного громового удара, а уже звучал новый, то тяжело и низко, то сухо, резко, как выстрел. Казалось, не будет этому конца.

— Господи, страхота какая. Васька, подлец, напился, как собака, ставни не мог закрыть, ему-то что, дрыхнет! — закричала Евдокия Ивановна, и по тому, что она перестала молиться и начала ругаться, я понял: гроза начинает сдавать.

И правда: молнии все чаще стали вспыхивать в правой стороне окна, все правей и правей, гром уже не выстреливал и не взрывался, а рокотал. Тогда я осмелел и совсем подошел к окну; мама уже стояла там.

— Провода горят, — сказала она. И точно, горели провода в отдалении. Но тут совсем близко я увидел темно-малиновый свет, неяркий, как у тлеющего костра.

— Мама, что это? — спросил я.

До этого она не только без тени страха, но азартно и с какой-то жадностью всматривалась в жутковатую картину грозы; сейчас она разом встревожилась.

— Неужто горит? — подскочила босая, в одной рубахе Евдокия Ивановна. — Охти, у Шурки Китаёзы горит, она же весь город спалит!

Она накинула что-то и выскочила опрометью из избы, я — следом.

— Вася, не смей! Вернись! — крикнула мама. Я сделал вид, что не услышал.

Ветер ударял в лицо порывами; ливень уже успел превратиться в нудный мелкий дождик. Широкий ручей катился по улице. Вымокший насквозь, я никак не мог понять, как может что-либо гореть в сплошной воде. Впереди и рядом слышались голоса, мелькали серые тени людей, спешивших туда же, что и мы. Мама догнала меня и молча пошла рядом.

Мы опоздали. Мужики растаскивали последние бревна сгоревшего сарая, гасили головни. В собравшейся толпе слышался удивительно спокойный, неспешный говор:

— Легко отделалась...

— От в тридцать пятом, помню, так же, от молнии, клуб сгорел...

— Стихия она и есть стихия...

— Чего ты плачешь, за чем убиваешься? Довольная должна быть...

— А она с испугу...

Вспыхнули от незагашенного бревна искры.

Щуплая маленькая фигурка скользнула в их свете нам навстречу.

— Мишаня? — сказала мама. — Ты что, с ума сошел? Что ты тут делаешь?

— Правильно говорите, — сказал какой-то человек, — сумасшедший и есть малец этот, бёг, ровно на пожар.

— На пожар и бёг, — сказала женщина; все засмеялись, и она повторила: — А он и бёг на пожар!

— Да он мне под ноги скакнул, я так и грохнулся, — сказал тот же человек беззлобно. — Стой, говорю, шельмец! А он: «Пустите!».

— Родственник, должно, — сказали в темноте.

— Ты что, за нас испугался? — улыбаясь, спросила Мишаню моя мама. — Ну, беги, беги домой, тебя уж, наверно, хватились!

Я едва успел тронуть Мишанину руку, он исчез, нырнул в дождь, пропал. Все стали расходиться. Я шел, нащупывая ногами дорогу под водой, и до самого дома чувствовал, слышал в темноте мамину растроганную улыбку.

XIV

Начались репетиции. Я разучивал свою роль «с голоса» и запомнил ее очень быстро. Но оказалось, это было самое простое.

Мне втолковывали, что я должен делать, все вместе и каждый в отдельности.

— Понимаешь, твоя мама Эсфирь из богатой еврейской семьи...

— Это было давно, очень давно, до революции...

— И она полюбила русского, следователя Белоусова...

— А ее родители не разрешали им пожениться, и он покончил с собой, застрелился — ясно? Но ты уже должен был родиться, и тогда твою мать решили выдать за Михаила, чтобы скрыть позор...

— Зачем забивать ребенку голову такими вещами? Просто запомни: твой отец не любит тебя, бьет, а ты не знаешь, почему. А потом узнаешь, что он тебе вовсе не отец, что настоящий твой отец умер в России...

— Сначала нужно сказать, что они переехали в Америку.

— Первая сцена — это самое важное! Отец побил тебя и вышвырнул. Учти, никто тебя толкать не будет, ты сам должен вылететь вот так и упасть, и ты к тому же ничего не понимаешь: почему? За что? Ведь ты любишь отца! И вот ты говоришь... Что он там говорит, Лариса?

— Он плачет.

— А что он говорит?

— Сначала он ничего не говорит, только плачет.

— Господи, а потом, потом?

— Мамочка... Мамочка, когда папа бьет меня по голове, у меня в глазах мутит...

— В глазах? Мутит? Неужели так и сказано? Ну, черт с ним, пусть мутит. Итак...

— Мамочка, — говорю я.

— О, ужас! Не то, совсем не то! Трепещущим от рыданий голосом, не жалуясь, но обращаясь к последней своей надежде: «Мамочка!».

— Мамочка, — передразниваю я точь-в-точь своего наставника.

— Ну, уж это ни в какие ворота, — говорит он, снимает золотые очки и нервно протирает их. — Лариса, покажи ему. Впрочем, нет. Начнем все сначала. Ты вылетаешь из-за кулисы... Что-то? Ты не знаешь, что такое кулиса? Боже...

Меня губила страсть к подражанию. Я в точности копировал жесты, интонации каждого, кто со мной работал и показывал, «как надо». При этом я бывал то суматошлив, как наш режиссер Павел Ильич (тот самый человек в очках и пестрой рубашке, который мне запомнился с первой встречи), то

сентиментален и нежен, как Лариса, то басил, как трагик наш, Борис Иванович.

— Не знаешь, хвататься за живот или браться за голову, — говорил Павел Ильич. — Ах, юное дарование, юное дарование!

Приближался день отъезда труппы, моего отъезда, а я все еще не решался сказать о нем Мишане. Правда, в первый раз за это лето мы не каждый день встречались: после репетиций я часто не мог разыскать его ни в одном из знакомых, заветных мест. Прятался он от меня, что ли?

Тем более удивил он меня при встрече.

Мы ушли далеко в луга, сели в сухой ложбинке. Мишаня достал папиросу, закурил, закашлялся. Я был поражен и подавлен.

— Слушай, Васька, — сказал он. — Я знаю, тебе наша Светка нравится.

— Ты что? — спросил я, в одно мгновение вспотев от стыда и сладкого ужаса.

— Что, что. У меня ж глаза есть. Ты не думай, я, того... не возражаю. Вырастешь, поженитесь, я к вам в гости приезжать буду. Она так девчонка ничего, только врать любит. А не соврет, так смолчит, все равно вранье выходит.

— Мишаня, — сказал я. — А ведь я уезжаю...

— А я знаю, — сказал Мишаня, да так спокойно и грустно, что у меня в глазах защипало.

— Я ненадолго, к школе вернусь, никак нельзя было отказаться, — торопливо и бессвязно бормотал я. Что-то было ужасно неправильное в моем отъезде, чувство неправильности и вины никак не отпускало.

Чуть заметно дрогнула земля, потом еще. И мы оба сильно-сильно вздрогнули, особенно я, было похоже, что это нарочно кто-то подстроил. Саперы опять взрывали где-то недалеко мины, все было точно, как тогда...

— Оба два поклянемся, — сказал тогда Мишаня. — Кровью, как солдаты. Чтоб по гроб жизни дружба. И без друга — никуда, — сказал он. И я выпил каплю крови, выкатившуюся из Мишаниного пальца, и он выпил каплю моей.

Как я мог забыть? А я и не забывал. Я помнил, не словами, а всем, что было во мне, и знал, что Мишаня сейчас думал о том же, и я ждал, что он скажет: «А клятва?» — но он вздохнул, ничего не сказал.

За день до отъезда начался да так и шел, не переставая, дождь. Наверное, нигде и никогда не было такого скучного, такого унылого дождя. Неба не видать; вместо него что-то серое, бесформенное хлюпает без конца над головой. И ни в чем никакого просвета: серые дома, серые развалины, серые лужи; съежившиеся от сырости и холода деревья, и лица заспанные, пасмурные. Актеры под зонтиками — и те подрастеряли свой шик и нахохлились, как старые бездомные птицы.

У мамы на лице дождь и слезы совсем перемешались. Она уже давно жалела, что сгоряча согласилась отпустить меня, а в последние часы совсем извелась. Старая актриса, и директор, и Лара клялись и божились, что все будет в порядке, я тоже твердил:

— Не бойся, мама, не надо, не плачь, мама!

Но честно говоря, я и сам раскис. Мне и маму жалко, и актеры вдруг ка-

жутся незнакомыми, чужими людьми. А паровоз уже пыхтит, и меня торопят все более сердито, а мама прижала меня к себе крепко-крепко, и все медлит отпустить, и отпускает, наконец, и я стою уже в тамбуре, и поезд потихоньку поехал, и я все-таки дождался: маленькая, мокрая, взъерошенная фигурка бежит вдоль вагонов.

— Мишаня! — кричу я. — Я здесь, Мишаня!

Что-то недовольно выговаривает мне моя «театральная мама», проводница просто ругается и заталкивает меня в вагон, я вырываюсь, Мишаня бежит, не отставая, за вагоном, дождь припустил и бьет ему в лицо.

— Держи! — кричит он.

Что-то звякнуло, я поднимаю и — вижу подарок Хельмута, перочинный нож; меня уже завели в вагон, говорят что-то, а я гляжу обалдело на этот ножичек, гляжу и все расширяю глаза, чтобы слезы удержались, не выкатились...

XV

Цок-цок-цок-цок, — разносится по пустым предутренним улицам. Мы прибыли в прибалтийский городок Р. в четвертом часу утра. Нас ждали. И вот мы покачиваемся в открытой коляске. Прохладно. Сырой предрассветный туман обволакивает нас. Копыта лошади цокают по асфальту. Едва различимы по бокам и впереди каменные нерусские очертания домов. Размеренно, неторопливо выговаривают копыта: цок, цок, цок, — так размеренно, так неторопливо, что я снова засыпаю. В полусне слышу, что лошадь стала. Неуклюже сваливаюсь с коляски и, держась за чью-то теплую руку, иду, иду, подымаюсь какой-то причудливо извитой лестницей, падаю на мягкое, сплю.

С утра мы направились на базар. По рядам проходила, роняя значительные и неспешные замечания, процессия, не менее торжественная, чем когда-то в Углове, только теперь она включала и меня. В новой хрустящей рубашке с двумя карманами, в новых коротких штанах, в новых желтых носочках, в сандалиях, скрипящих от новизны, весь как будто только-только выданный со склада Примерных Детей, я потел от сознания собственной значительности, от боязни сделать что-нибудь не так. И, конечно, не понимал, что мне говорили, поворачивал в сторону, противоположную указанной, наступал на ноги, поскальзывался и падал на ровном месте, ойкал, чихал, обижался, важничал, краснел, показывал пальцем, хлопал ушами. Диву даюсь, как вынесли все это актеры, но они были чудо как терпеливы.

Недели через две, когда я освоился с сандалиями и с рубашкой, Лариса изобразила этот первый мой поход: актеры смеялись, я сам покатывался, но потом, уйдя, долго сидел один в пустой и темной гостиничной каморке, пока не нашла меня моя театральная мама, не прижала к теплой мягкой груди, не погладила по голове: «Обиделся? Артист не должен обижаться!»

К удивлению моему, я оказался самолюбив и капризен. Да ведь, правду говоря, до того мне и не приходилось сталкиваться со словом «самолюбие». Да и где бы? В стычках и боях угловской ребятни, где великий и непреложный закон «кто кого» не позволял никому обижаться? Дома? Какое уж самолюбие,

какие капризы перед мамкой, едва дотащившей ноги со службы, перед неизменно «тепленьким», грустным, небритым дядь-Васей, перед Евдокией Ивановной с ее — век их не переделать — делами! Перед Мишаней? Смешно!

Правда, когда я пел... Но все, кому я пел, — мамины сослуживцы и дорожные попутчики, соседи и школьная учительница да и ребята — тоже простодушно и горячо меня хвалили, потому что я пел правильно, с выражением и никогда не перевирал слова. А тут...

— Я хочу уйти в Россию и больше не возвращаться сюда. Меня здесь никто не любит, кроме дяди. И я знаю, что мой папа тоже там, — говорю я слова роли горячо, как мне кажется, и жалостно.

— А? — спрашивает Павел Ильич. — Что? Не понял!

— Яхочувернутьсяна... — повторяю я.

— Вася, ну нельзя же так тараторить, — мягко выговаривает мне Екатерина Алексеевна. Она, как всегда, права, и это особенно обидно.

— Я хо-чу вер-нуть-ся, — отчеканиваю я, уже краснея.

— Голубчик, нельзя ж так. Видишь, сколько взрослых людей ждут, когда ты соизволишь говорить по-человечески! — это вступает в разговор мой «дядя» Петр Иннокентьевич, совершенно лысый морщинистый человечек, о котором актрисы за глаза говорят, что он пошел в театр, чтобы хоть изредка обзаводиться пышной шевелюрой. Козлиным печальным голоском он показывает, как нужно произнести мою фразу. И я повторяю ее таким же печальным, еще более козлиным голоском.

Минут пять все вокруг веселятся, только Петр Иннокентьевич покачивает головой да Павел Ильич что-то кричит, пытаясь восстановить порядок.

Потом все начинается сначала.

Оказывается, я не умею ходить, плакать, улыбаться, падать, я глупо стесняюсь обнять свою предполагаемую маму, я вообще никуда не гожусь!

При всем том относятся ко мне хорошо, или терпеливо, все, кроме Ильи Арнольдовича, директора труппы. Он тоже играет, он играет моего отчима. По пьесе мы ненавидим друг друга.

— Болван ты этакий, — то и дело кричит он по ходу репетиции, и выходит это у него чересчур даже натурально. И встречает мой угрюмый взгляд — настоящий, а не по роли, так играть я еще не умею.

А ведь это он первый предложил взять меня в поездку. Я уже не помню, чем в первый раз досадил ему: то ли передразнил, как только что Петра Иннокентьевича, то ли не так, как следует, назвал. Я забыл, а он помнит: с Ильей Арнольдовичем шутки плохи, так он мне однажды и сказал, притерев меня к стене и дыша сверху в лицо противной смесью духов и табака.

Он находит тысячи способов унизить меня, он замечает все смешное, что я делаю, он дает мне украдкой щелчки, от которых вспухают на голове крохотные шишки: «Испугался? Ха-ха, я пошутил!»

Однажды он «нечаянно» запер снаружи номер, где я живу, и я сидел взаперти, пока добрая Екатерина Алексеевна, моя театральная мама, не спохватилась и не вернулась за мной.

Я никому ничего не говорю об этом, я только стараюсь быть от него подальше, и, главное, чтобы рядом были другие люди, лучше всего Лариса или

Екатерина Алексеевна, но он подходит, улыбаясь, он гладит меня «по головке», он говорит:

— Не правда ли, можно подумать, что наш вундеркинд меня избегает!

— У-у, связался черт с младенцем, — зло, но, к сожалению, тихо говорит Лариса.

— Илюшка, чего пристаешь к пацану, — невообразимо низким басом роняет Борис Иванович. Он тоже мой друг: у него короткие толстые ноги, круглый живот, лицо, составленное из множества древних складок, каждый вечер он «уговаривает» бутылку «чего-нибудь покрепче», и он один в глаза называет Илью Арнольдовича Илюшкой.

Еще он любит декламировать стихи:

Он поклялся в строгом храме
Перед статуей мадонны,
Что он будет верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны...

— Непреклонны, Вася, слышишь ты, не-пре-кло-нны! — рокотал он своим невозможным басом, ронял голову на руки и плакал... Но это бывало уже после «чего-нибудь покрепче».

Нам сытно жилось в этом городе. Мы каждый день завтракали, обедали и ужинали, ели яйца, творог, даже мясо, потому что здесь был хороший базар.

Этот город тоже разрушен, но в сравнении с Угловым он казался почти не тронутым. Незнакомые дома из серого камня, с башенками, выступами, балконами, нишами, высокие стены по бокам узких улочек — это все словно бы кто-то хорошо и затейливо выдумал.

На берегу озера стоял длинный одноэтажный дом, в нем и проходили гастроли.

Что со мной было, когда вылетел в первый раз на освещенную сцену! Я и должен был вылететь, как будто мне дали пинка, но нужно было сделать это самому, а я остолбенел, колени ослабли, в ушах звон. И тогда мне дали пинка в самом деле, и даже не Илья Арнольдович, а мой друг Борис Иванович, и я чудесно помнил свои слова, но забыл, что мне надо заплакать, а темное, многоглазое там, в зале, уже начало шуметь и покашливать, когда я расслышал наконец то, что слышал уже весь зал:

— Плачь, ну плачь же! Плачь, слышишь ты!

И я взаправду заплакал и чуть не забыл свой текст.

Но все обошлось, и через три дня я сидел на берегу озера вечером, часа за два до спектакля.

Подошли два пацана. В этом городе говорили по-своему, но некоторые разговаривали по-русски. Как эти двое.

— Чего расселся? — спросил один.

— Это наше место, — сказал другой.

— Откуда ты такой взялся?

— Я артист, — важно сказал я.

— Ха-ха-ха, артист с погорелого театра, артист с погорелого театра!

Они скакали вокруг меня в восторге, они показывали язык, они так и напрашивались, чтобы дать им, но я только вздохнул. Положение обязывало.

— Не верите? — сказал я им. — Хорошо. Я проведу вас в театр.

Это был вечер моего триумфа, хотя ни Лариса, ни Екатерина Алексеевна никак не могли взять в толк, зачем мне понадобились две контрамарки.

Когда я вышел после спектакля, после того как мне смыли грим и клей от парика, две фигуры еще стояли.

— Скажешь, это был ты? — сказал один с сомнением и потрогал мои волосы.

Там на сцене, они были не черные, а белые и до плеч.

— Обыкновенный парик, — сказал я. — Что, съели!

XVI

Первое в жизни письмо. Оно свернуто треугольником, буквы и снаружи, где пишется адрес, и внутри — крупные, как печатные, — это чтобы я без труда прочитал.

«Здравствуй, Васенька. Вот уже две недели, как ты уехал далеко. Сразу стало позже светать, и темнеет раньше. У нас в доме тоже поскучнело, ребеночек без тебя очень часто капризничает, а Нюра злится. Слушай, сын, ты по мне скучаешь? Хоть немножко? Хоть капельку? А вдруг ты загордишься, решишь остаться артистом, уедешь в Москву и маму забудешь? Шучу!!!

Как поживает твоя временная мама? Ты ее слушайся, она разумная женщина. Но и меня не забывай.

Мишаня часто крутится возле нашего дома, как привязанный. Он тебя ждет, но не говорит ничего: гордый. Зато Светка не молчит: по ее словам Мишаня стал «нервенный» и ходит «как дурной». Я тебе никогда не говорила, но он хороший друг, я бы лично от такого никогда не уехала.

Я много работаю, один раз ходила в кино. Все передают тебе привет. В том числе и Леонид Викторович, ты его должен помнить, инженер со станции, такой высокий и немного смешной.

Я все думаю, как ты там живешь, не обижают ли тебя, как там с питанием и пр.

Васенька, скоро уже в школу, и ты скажи им, что тебе нельзя опаздывать. Я уже «Арифметику» купила на базаре, совсем немного потрепанную и всего две кляксы. Обходились же они раньше без тебя, и теперь не умрут. И неужели тебе домой не хочется?

Целую тебя и жду, твоя мама».

XVII

И был другой город, большой, тесный, с громыхающими трамваями, с серым многоэтажным Народным домом, в котором мы давали спектакли. И в этом городе, как и в прежних, все билеты бывали раскуплены, у Ильи Арнольдовича с утра до вечера выпрашивали контрамарки.

Я не знаю, был ли наш театр хорошим, потому что не видел тогда никаких других. Может быть, и нет, ведь у него не было даже названия, вернее, назывались мы не театром, а «труппой московских артистов». До войны все

наши актеры работали в разных местах, а во время войны одни воевали, другие выступали в бригадах на фронте. Это тоже было очень важно и опасно, и, например, Илью Арнольдовича во время такой поездки даже контузило. (Вспомнил, кстати, с чего он на меня впервые взъелся. Когда он рассказывал о своей контузии, я вдруг ляпнул: «Я так и думал». — «Что ты думал?» — «Что вы контуженный», — без всякой задней мысли сказал я. Потом он все допытывался, кто меня научил при всех так сказать, но что я мог ответить, когда никто меня не учил?!)

Хорош был наш театр или нет, но он был первым после войны, и поэтому люди плакали даже на комедиях, и обивали себе ладони, и кричали «бис!».

— Бросьте вы пить, — сказала как-то моя театральная мама Борису Ивановичу. — С чего вам глаза заливать? Вы посмотрите лучше, что творится! Что творится, боже ты мой! Я думала, нас никто и смотреть не станет. Господи, какие трагедии идут в сравнение с тем, что пережито вокруг! Виселицы, плахи, предательства, убийства из-за угла, герои, такие герои, что и не придумаешь! Гибли тысячами, сотнями тысяч, теряли все. После этого мы выходим и рассказываем им о горе одной-единственной обманутой женщины, и они, это они-то, всю войну прошедшие без слезинки, плачут!

— Я т-тоже плачу, несравненная, — рокотал Борис Иваныч и норовил поцеловать руку Екатерине Алексеевне, но она ее быстро отдергивала: «Не паясничайте!»

Но вот Борис Иваныч поднял тяжелую голову, посмотрел долго на мою театральную маму, кивнул:

— Садитесь, коли так. Нет-нет, вы уж будьте любезны, садитесь, сами ведь напросились, так извольте выслушать. Вы, Екатерина Алексеевна, преотличная женщина, и все вы говорите правильно, кроме одного. Они пережили это, они пережили то... А мы? А мы-то не пережили? Что мы, из Гваделупы или этого... Гондураса свалились?

Вашу Анну Каренину смотрят, кроме всего прочего, потому что она под бомбежкой побывала. Ваш Фердинанд, понимаете, не только шпажонкой, а и автоматом работал. Все, что мы думаем, о чем помним: что у нас в глазах и в печенках засело — война, войною, о войне. Мы зрителю не посторонние, мы такие же, свои, и он, будучи не дурак, это дело видит.

Вот Ланина красавица, талант и — глухая. А вы знаете, где ее оглушило? Медсестрой, на Карельском. Она держится, она лучше всех нас играет, но это ж все знакомый репертуар, она все реплики насквозь знает, а что дальше?

Ты вот давеча (это он вдруг обратился ко мне) Петра Иннокентьевича передразнил. Правда, смешной человечек: маленький, лысый. А он, брат, из знаменитейших разведчиков был, не нам чета, ослепительной смелости человек, не гляди, что голос козлиный.

Или вот Лариса. Илюшка ее все связями попрекает. Мол, по блату в театр попала. Да, понимаешь, есть связи. Отец ее, прекрасный был актер, погиб в Киеве. Не успел в эвакуацию, играть при немцах отказался — и каюк. Мать еще до войны умерла. И вот друзья в память об отце положили: сделать ее актрисой. И сделают. Она уже сейчас не зря хлеб есть. Вот тебе и связи...

Потерпите, Екатерина Алексеевна, знаю, что вам это известно. Я вон и

для него говорю. А вот чего вы не знаете — почему Илюшка так мечется? Я не рассказывал, случая не было. Терпите, терпите, история не такая уж долгая.

Мы с ним были в одной бригаде. По госпиталям ездили, по частям и на передовую попали. Ну, и после второго концерта застряли мы. Немец попер, узнаем краем уха, что положенье аховое, как бы в окруженье не попасть. Само собой, всем не до нас, не чают, как выставить артистов, но и тут какая-то заминка. Вот мы тогда делегацией к генералу: так, мол, и так, доиграем и допляшем потом, а сейчас, ради бога, дайте оружие, мы ж тоже пока живые, и руки и ноги есть. Начальство поломалось, но недолго: некогда было. Женщины наши в госпиталь, как одна, пошли.

Ну, а Илюшка... Он все молчал, пока мы решали. И вдруг заскандалил. Да как! Прямо-таки с пеной на губах! Не затем я ехал... Святое искусство... Издевательство над артистами... Я требую возвращенья в Москву!

Ой, до чего же стыдно было! Мы все, как оплеванные, стояли. Что вы думаете? — отправили его. Он уж больше ни в какие бригады — ни-ни! Стороной я узнал, что он в Алма-Ате, на киностудии статистом устроился. До победы. Вот тут уж, похоже, связи... Вот он и мечется теперь, места себе не находит: у него одного не война за спиной, а так — пустота и подлость...

Вообще-то Борис Иваныч разговаривать не любил. Только в этот раз да еще однажды довелось мне услышать его так вот, подробно и серьезно.

Старый театр в городе был разрушен прямым попаданием бомбы. Она пробила насквозь крышу и разорвалась в зрительном зале. Здание было запретной зоной, но нас туда пустили. Все служебные помещения, все вестибюли, все коридоры были целы. Мы поднимались по широченной темной лестнице; наши провожатые светили фонариками, и в конце марша, когда мы повернули, острые лучики ударили нам в лицо, темная, испуганная толпа глянула навстречу. Вздрогнув от неожиданности, мы сразу не признали самих себя, растерянно глядящих в огромное таинственное зеркало.

Хозяева вели нас по этим лестницам, по темным, гулким коридорам, по неведомым переходам, все выше, лучи фонариков выхватывали то кусок истлевшего шелка, то лепного ангела, то угол, затянутый паутиной, то золоченую витую дверную ручку. Много дверей открылось и с пугающим скрипом медленно затворилось за нами; еще одна — и мы, все, разом ахнули!

Под нами была пропасть. Сквозь пролом в потолке падал солнечный луч и освещал резко, как прожектор, маленький круг внизу; отсветы этого луча и этого круга делали бывший зал необъятным. Внизу, на самом дне, валялись исковерканные кресла, остов люстры, еще какие-то темные предметы; по бокам возникали очертания ярусов. Сцена виднелась далеко впереди. На ней стояли декорации: серые и плохо различимые постройки, возвышались не то башни, не то купола. А тишина окружала все, мертвая тишина заколдованного царства...

— Китеж-град! Настоящий, доподлинный Китеж-град! — сказал Борис Иваныч.

Бомба что-то разладила в театральной акустике.

— Итеж... Ад... Ащий... Теж... Итеж... — зазвучало кругом. Слова кружили

по залу, возвращались, задевали лицо. Потревоженные летучие мыши снова метались в потемках.

Да, там, на сцене этого удивительного театра, внизу, на дне, затопленный, нереальный, стоял Китеж-град. Но как узнал его Борис Иваныч? Разве это он ехал вместе с Мишаней к старлею, разве он сидел, привалясь к стене, в комнате старенькой станции, разве ему говорил сонный невидимый женский голос о граде Китеже? Мне показалось, что он подслушал мои мысли, выведал самую главную мою тайну...

— Откуда вы знаете про город Китеж? — спросил я почти враждебно, и от звона голосов разлетелась вдребезги тишина:

— Уда... Аете... о-о-о-о... и-еж...

И второй раз на моей памяти безостановочно говорил и говорил Борис Иваныч. Он рассказывал мне про нашествие татаро-монголов, пел чудесные песни, читал нараспев былины, бормотал, всхлипывал, вскакивал и разил невидимого врага...

Тосковал он, Борис Иваныч. Я понимал его — что ж не понять, я тосковал и сам. И опять же никогда прежде со мной этого не случалось, и я представить бы себе не мог, что такое бывает.

Я просыпался в чужой незнакомой комнате, рядом похрапывали, бормотали во сне, бредили войной соседи-актеры. И вдруг такая грусть нападала на меня, что вот, еще немного — встану и пойду пешком туда, к себе, в Углово. Я вспоминал маму, Мишаню, по очереди и вперемешку, я думал — что они сегодня делали, о чем и с кем говорили, и спят они сейчас или не спят? Иногда вспоминал я и незнакомого мне Леонида Викторовича, который вдруг решил послать мне привет — но без всякого зла, а грустно. А то представлял себе, что Мишаня и мама меня забыли, как будто меня и не было, и так сладко было жалеть себя, долго, до тайных слез, пока не всплывало то, что я в душе давно знал: что такого быть не может, и тогда я начинал жалеть маму — как она там без меня? — и вдруг вспоминал о нашей с Мишаней клятве, и тут уж мне так становилось плохо, что я старался больше не думать, а заснуть, заснуть, заснуть, головой под подушку.

Мне приснился сон. Будто мы с Мишаней идем искать патроны, и я не заметил, как он отбежал далеко в сторону, а земля вздрагивает, наверно, это рвутся мины, как было в самом начале и на прощанье, и мне становится тревожно и жутко. И вдруг я вижу, что из-за старого дота в Мишаню целится из ружья Хельмут, и лицо у него недоброе, и глазки свиные.

Я кричу: «Мишаня!» — кричу и бегу из последних сил, а он меня не слышит, возится что-то в траве. «Миша-ня!» — кричу я, воздуху не хватает. — «Хельмут, подлюка, что ты делаешь, ведь Мишаня же это, Мишаня!» И вдруг Хельмут поворачивает ко мне страшное свое лицо, и я вижу, что это вовсе не Хельмут, а Илья Арнольдович, и он говорит...

Я открываю глаза. Надо мной и в самом деле стоит Илья Арнольдович, он шутит:

— Сколько можно спать, хочу я спросить? Или мы провели бурную ночь? — а глаза у него злые-злые.

Я долго не могу забыть этот сон. Странно, что мне приснился Хельмут в таком страшном виде. Он был всегда добр с нами, и улыбался застенчиво, хо-

рошо. После поездки к старлею мы несколько дней не заглядывали на Невельскую, а когда пришли, там работала уже бригада отделочников: совсем другие пленные, да и часовые хмуро погнали нас. Мы обегали все стройки, но Хельмут как в воду канул. Так мы его больше и не видели...

Илья Арнольдович... Этот мог и присниться. В последнее время он меня чуть ли не возненавидел. Я, правда, и сам виноват.

В холле гостиницы собралась добрая половина труппы. Шел разговор о войне, о том, кто как встретил ее начало и конец. И дернул же меня черт за язык.

— Илья Арнольдович, — сказал я невинным тоном, — расскажите, как вы в кино в Алма-Ате снимались?

Он побледнел, ни слова не говоря, повернулся и вышел. Кто-то переменил тему разговора, и только Борис Иваныч глядел на меня и укоризненно, сердито качал головой... С тех пор Илья Арнольдович редко подходил ко мне, оставил даже большинство своих шуток, но когда я ловил на себе его взгляд, впору было испугаться: такая в нем светилась открытая злоба.

Жизнь в театре шла своим чередом. В газете напечатали про нас статью. Очень хвалили Ланину — ту очень красивую артистку, которую я еще на угловском базаре увидел и запомнил в длинном переливчатом сине-зеленом платье. Это она была медсестрой на фронте и оглохла от близкого взрыва.

Римма Григорьевна, столь же давняя моя знакомая — пальцы ее были усеяны перстнями и кольцами, плакала и говорила, что у нее нет мужа и потому можно писать про нее разные пошлости. Илья Арнольдович удивлялся необъективности прессы: о нем не было ни слова; зато в статье упоминалось, что роль Генриха играл восьмилетний Вася К. и, хотя меня на целый год «омолодили», я чуть не заплясал и купил шесть газет — тем более, что в газете хорошо отзывались о моей театральной маме.

С ней-то мы и шли однажды на спектакль, когда я решился спросить:

— Екатерина Алексеевна, скажите, только честно-пречестно...

— Я слушаю, — своим грудным и теплым голосом сказала Голубева.

— Вот скажите — ну, вот столечко, хорошо я играю?

— Честно-пречестно?

— Да, да!

— Мой мальчик, ты играешь отвратительно, то есть хуже некуда. Куда же ты? Вася, я пошутила! Вася!

Но я уже мчался наперерез лошадям, трамваю.

«Ах, так... Хуже некуда... Ну, так и не надо. И не буду. Зачем я только поехал с вами... Посмотрим, как вы без меня обойдетесь!»

Все это, вперемешку со слезами, не мешало мне лететь, не разбирая дороги; старой актрисе было, конечно, за мной не угнаться.

Часа два бродил я, глотая слезы, одинокий, переполненный планами мщения. Но мои ноги все приводили и приводили меня к театру, я крутился и крутился возле служебного входа, уже надеясь, что кто-нибудь заметит меня и позовет и, в конце концов, не выдержал — зашел сам.

Без меня обошлись. В театре преспокойно шел другой спектакль. Екатерина Алексеевна меня «не заметила». Борис Иваныч жалостливо отвернулся. Лариса сказала: «Эх, ты!» Павел Ильич буркнул: «Иди, нечего тут! Потом поговорим!»

Я побрел в гостиницу, сел на своей кровати. Скучно, бесприютно было в пустом номере...

Здесь и нашел меня Илья Арнольдович.

— Показался во всей красе? — спросил он.

— Ну, показался, — сказал я, стараясь не испугаться, потому что странно, боком, боком, вполоборота, скверно улыбаясь, подходил ко мне этот человек.

— Показался, показался, — бессмысленно повторил он, глаза его сошлись к переносице и глядели совсем уж ненормально. Он вернулся к двери, открыл ее, вынул ключ и, вставив его изнутри, повернул. Снова вернулся. Спокойно отведя руку, он влепил мне затрещину, так что я свалился на кровать, и голова больно стукнулась об стенку.

— Это только начало, — пообещал он. — Отца у тебя нет, учить некому, так я тебе буду вместо отца...

— Не трогайте моего отца! Если бы отец был жив, он... Он застрелил бы вас!

— Хорошо, хорошо, продолжай, — сказал он громко дыша.

— Или бы если здесь был Мишаня... Вы... Вы трус, все знают, трус, вот кто вы! Ой!

Это был нечестный удар, под дых, и я имел право вцепиться зубами в его руку, противную белую волосатую руку, воняющую одеколоном, — меня чуть не стошнило, и я выпустил ее.

И тут на меня обрушилось множество коротких и предательских ударов, и я извивался, как мог, и защищался ногами, зубами, кулаками, но он был гораздо сильнее, и он держал наготове ремень с тяжелой, почему-то морской пряжкой; дыша в меня гнилыми зубами, духами и табаком, он шипел:

— Я тебя проучу, я тебя проучу...

Я ругался всеми словами, которые я слышал когда-либо от дерущихся или пьяных мужиков, кричал: «Не трогайте меня! Не имеете права!» Я колотил его куда попало, а он приближал лицо, все спокойнее и радостней улыбаясь, и было это, наверное, как у фашистов, когда тебя ведут связанного на расстрел, и наша конница все опаздывает, все еще не кричит «ура!», или как дурной сон, из которого один только выход — проснуться...

Бог с ним, с этим человеком, с его враждой к девятилетнему пацану, много лет уж, как он исчез из моей жизни, как в воду канул.

Меня отняла Екатерина Алексеевна. Неизвестно почему она до срока вернулась со спектакля и, услышав мой крик, стала колотить в дверь.

— Фашист! — кинула она ему вместе с пощечиной: удивительно, но это же самое подумал я еще раньше, а теперь это ее слово стало последним, услышанным мной перед тем, как провалиться в полную темноту.

...А потом меня провожали домой. Всей труппой. Павел Ильич, покашливая, говорил речь.

— Екатерина Алексеевна пошутила, Вася. Ты играл не отвратительно. Ты, когда старался, играл как нормальный и неглупый девятилетний мальчик, и это было то, чего мы от тебя ожидали. И во всяком случае, ты нам помог, и многие из нас тебя полюбили. А теперь тебе пора в школу, к маме и твоему Мишане — мы столько о нем слышали, что вполне можем передать ему привет. А об этом человеке, который... которому...

— Я ему для начала дал по мордам — Илюшке. А там дальше посмотрим, — сказал грустно Борис Иваныч.

— Пора прощаться, — сказал Павел Ильич.

Екатерина Алексеевна, моя добрая театральная мама, всплакнула и приказала непременно приехать в Москву (Курбатовский переулок, запомни: Курбатовский!), Лариса тоже совала свой адрес, какие-то пирожки; сумка, которую мне дали с собой, уже полна была снеди, маленьких и смешных подарков.

— Не горюй, брат, — рокотал Борис Иваныч.

Грустно мне стало, но, по совести признаться, наполовину я был уже в Углове...

XVIII

Не передашь, какая жажда, какое нетерпение и беспрестанное ожидание чудес и приключений сжигало меня! И не успели разогнаться колеса, не успела захлопнуться дверца, отделяющая прошлое от настоящего, как все происшедшее со мной уже стало превращаться в такое сказочное приключение. И я уже представлял себе, предвкушал, как буду рассказывать об этой поездке, как меня будут слушать, охать и не верить ни одному моему слову. Только об этом я не знал, как рассказать. Почему, ну, почему не было тогда со мной Мишани? Этот тип не посмел бы пальцем ко мне прикоснуться, будь мы вместе!

Но вскоре я забыл Илью Арнольдовича накрепко и надолго. Он один в моей памяти никак не мог выдержать в окружении множества добрых и грустных, открытых, человеческих лиц. Детство нуждается в светлых впечатлениях и их бессознательно выбирает; нельзя в этом возрасте жить, не веря, что добро торжествует над злом. Я в это верил непреложно, и у меня за душой было этой вере огромное, неопровержимое, все затмевающее доказательство: фашисты были злом, и мы их победили.

К тому же веселое, благодушное настроение царило в переполненном, как всегда, вагоне.

— Быстро мы их!

— Да, получили япошки!

— Вот мы шутим, смеемся, а ведь сегодняшний день войдет в историю. Подумать только: закончилась вторая мировая война! Последняя...

— Дай бог!

И в Углове то же: пьяненький, веселый, в гимнастерке без погон старичок радостно кричал:

— Я вторую мировую войну одержал, шутка?!

Синее, синее, синее до самых далеких глубин, ласковое небо, солнце не палит, а согревает и тешит, дышать необыкновенно легко. Гремит со столба репродуктор, звенят марши, диктор рассказывает о победе над империалистической Японией.

...Огромная разрушенная церковь у вокзала стала средней, большие дома — маленькими, маленькие — крохотными; уже и беднее показались улицы

Углова, но зато и милей. Всю дорогу до маминой службы я бежал без передышки. Еще в вагоне я достал две газеты, одну для мамы, другую для Мишани. Так и бежал, размахивая газетами и отощавшей за дорогу сумкой.

Но в исполкоме меня осадили. Незнакомый дядька сказал:

— Куда разбежался?

— Мне очень нужно! У меня там мама!

— Мама подождет. А там совещание, может, секретной агромадной важности!

Странный какой-то. Я не обиделся даже. Другой бы стал спорить, а я нет. Повернулся и — к Мишане. Я так спешил, точно непоправимо опаздывал, точно вся моя жизнь зависела от этих оставшихся до встречи минут. Сердце уже билось в горле, так я бежал, и вот совсем серенький и бедный наш базар, избушка когиза, землянка... Где же она?

Землянки не было. На ее месте плотники сколачивали ларек; один посмотрел на солнце — был полдень — и сказал: «Шабаш!»

Я снова пошел в исполком и, не доходя нескольких шагов, увидел знакомую фигуру Гусева.

— Александр Андреевич! — заорал я.

— А, артист, вернулся, — сказал он, как мне показалось, не очень-то обрадовавшись. — Ну, как там гастроли... и вообще?..

Вместо ответа я протянул ему газету. Он посмотрел мельком, не читая, и вернул ее мне.

— У матери был? — спросил он.

— Нет, там дядька какой-то странный, не пускает, Александр Андреевич...

— Дядька, говоришь, странный? Ничего, сейчас пустит.

— Александр Андреевич, не знаете, куда Мишаня переехал?

— Кто? — спросил Гусев, и я понял, что сморозил глупость. Откуда ему знать, куда переехал Мишаня, и где он жил раньше?

— Мишаня... — упавшим голосом повторил я.

— Переехал? — ужасно хрипло переспросил Гусев. — Погиб Мишаня. На мине подорвался.

— Как погиб? — сказал я. — На какой мине?

— На случайной мине. На последней мине. На дурацкой мине. Три дня как похоронили. Баловался там. Патроны собирал, или что там. Один он был.

Я все стоял, слушал.

Вздрогнула под ногами земля. Сперва раз, потом еще. Наверное, где-то саперы подрывали мины. Как тогда. «Кровью поклянемся! — сказал тогда Мишаня. — Как солдаты. Кровью, кровью, как солдаты, кровью поклянемся. Куда ты, туда я. И без друга никуда». Дрогнула земля, почти незаметно, но вся земля, и накренилась.

— Васька, что с тобой? — закричал Гусев. — Ты что, ты что, держись, ведь ты мужчина, ты что, Васька!!

И еще:

— Ва-асенька-а-а!!! — зазвенел в ушах отчаянный голос матери.

Детство мое, город мой Китеж — виденье и плоть, из-под вод золотистое мерцание, звонкие круги куполов, зыбкие изломы развалин. Полупрошлое и полубудущее, где по улицам, голубым и глубоким, идет, усмехаясь, Мишаня.



Коллективный роман

Вряд ли кто помнит сейчас, даже из людей старшего поколения, о писательской шутке — коллективном романе-детективе «Большие пожары», напечатанном в 1927 году на страницах журнала «Огонек». Собрать под «крышу» одного романа, не имеющего четкого по началу сюжета, 25 разностильных советских писателей — такова была необыкновенная идея редакции журнала. Инициаторы столь рискованного предприятия — Ефим Зозуля и Михаил Кольцов — сумели довести до конца романа всех 25 авторов, даже таких неисправимых своей медлительностью, как И. Э. Бабель...

Что же сочинил этот многорукий и многоликий автор «Больших пожаров»?

Для «затравки» первую главу написал Александр Грин. Называется она «Странный вечер». Содержание ее сразу же ставит несколько загадок перед читателем и коллегами-писателями. В городе Златогорске приезжий концессионер-иностранец Струк воздвигает странный огромный особняк. Но городу не до того: началась эпидемия пожаров, может быть, поджогов. Берлога, репортер

ГЕННАДИЙ МИХАСЕНКО

Со времени появления «Кандаурских мальчишек» прошло почти десять лет. Для иных книг срок вполне достаточный, чтобы состариться. Но есть нестареющие книги. Их переиздают, потому что и новое поколение читателей находит в них самое насущное — правду.

Повесть Геннадия Михасенко «Кандаурские мальчишки» принадлежит к числу таких счастливых книг. Это самая первая его книга, с нее начался Михасенко-писатель. Она уже выдержала четыре издания и, наверно, на этом не приостановится ее победное шествие к умам десяти-четырнадцатилетних мальчишек и девчонок.

Скажу сразу: Геннадию Михасенко не угрожает опасность остаться автором только одной книги. Так, к сожалению, еще бывает, когда молодой писатель, не овладев как следует мастерством, опубликует одну вещь, в которой непосредственно передаст кусок собственной биографии. Но писателем он так и не станет, у него не хватит жизненных наблюдений, культуры, литературного мастерства.

Геннадий Михасенко хорошо понял это именно тогда, когда работал над своей первой повестью. Тут следует назвать его литературных учителей и, в первую очередь, старейшего новосибирского фельетониста Евгения Филипповича Иванова, известного читателям под псевдонимом Филиппыч.

Могут удивляться, как это сатирик, журналист, оказал влияние на серьезного прозаика? Тем не менее, не один Михасенко добрым словом вспоминает школу Филиппыча. Можно припомнить имена Панькина, Сергея Наумова, Александра Кухно, Леонида Чикина. Все они стали членами Союза писателей. И не только они обязаны Филиппычу, список его учеников, ставших писателями, можно увеличить.

Речь идет о том, что опытный литератор, прекрасный стилист, автор нескольких книг Евгений Иванов долгие годы вел занятия в литературном объединении при новосибирской областной молодежной газете. Он учил любви к слову, рассказывал о работе классиков, вводил в таинственную «творческую лабораторию».

Сюда-то на одно из занятий и пришел со стихами студент строительного института Геннадий Михасенко. Ох, и всыпали ему тогда за стихи! И ритм-то в них оказался «изломанным», и слова часто случайными. Но студент не испугался, а уже в следующий раз принес новые стихи.

Некоторые из них были напечатаны в газете «Молодость Сибири». Постепенно из тех стихов сложилась книжечка для детей «Фантазер», которая вышла в Новосибирске в 1957 году. Сегодня ее стесняется сам автор, а, по-моему, напрасно. Она была тем этапом для творческого роста, который необходимо перешагнуть.

Ничего не говоря своим товарищам по литобъединению, Геннадий Михасенко сидел вечерами не только над чертежными листами. Он писал пьесу. Дело было отнюдь не из легких. Недоставало знания сцены, и Михасенко читал книги по театральному искусству, ходил на спектакли новосибирского тюза и «Красного факела».

По общему признанию, пьеса у него все-таки не вышла. Но материал в ней был интересен и расставаться с ним не хотелось. Не знаю, кто посоветовал попробовать написать повесть, только совет этот оказался мудрым. Так родился первый вариант «Кандаурских мальчишек».

Здесь настало время упомянуть имена других литературных учителей Геннадия Михасенко и, прежде всего, ныне широко известного прозаика лауреата Государственной премии Сергея Павловича Залыгина. Именно он, прочитав повесть по совету Филиппыча, приветил молодого литератора, одновременно указав ему на слабые стороны первого варианта. Надо отдать должное упорству Михасенко, он оттачивал фразы, переписывал страницы, действуя по советам своих наставников — сначала С. Залыгина, а потом уже — заведующего отделом прозы журнала «Сибирские огни» Бориса Константиновича Рясенцева. Вскоре в «Сибирских огнях» были напечатаны «Кандаурские мальчишки».

Кандаур — небольшое сибирское село. О том, как в годы войны жили в этом глубоком тылу ребятишки, как взрослым помогали они трудом ковать победу над фашизмом, рассказывается в повести. Недетские заботы выпали на их долю. Мальчишки понимали, что большое доверие оказывает им колхоз и прилагают все силенки, чтобы облегчить жизнь взрослым. Но разве можно в детском возрасте пройти мимо соблазна гоозоровать? И мальчишескими шалостями тоже населена книга, потому что неполной без них будет жизнь ребятишек, а значит, не всю правду скажет писатель. Так же как не может быть жизнь только одна мальчишеская, без участия взрослых. Поэтому и взрослым находит место писатель, хотя все повествование ведется от имени десятилетнего.

Повесть «Кандаурские мальчишки», как, впрочем, и последующие повести Геннадия Михасенко, имеет прототипов. Обильный и своеобразный материал почерпнул автор из собственной биографии да и из би-

местной газеты, отыскивает в архиве суда старое дело № 1057 о таких же поджогах двадцатилетней давности. Кому-то понадобилось заманить репортера в психиатрическую больницу, где его преступно лишают свободы...

И вот со второй по девятую главу соавторы Л. Никулин, А. Свирский, С. Буданцев, Л. Леонов, Ю. Либединский, Г. Никифоров, В. Лидин и И. Бабель пытаются привести к логическому развитию странную ситуацию, предложенную А. Грином...

Некто Куковеров обещает освободить Берлогу из психиатрической больницы и сделать своим помощником в деле розыска поджигателей. Но увы! И. Э. Бабель, которого соавторы подвели к разрешению этой ситуации, в девятой главе «На биржу труда», оказывается изворотливее своих коллег и еще больше усложняет фабулу сюжета. В главе очень хорошо видна бабелевская манера письма: яркие эпитеты и краски, сочный, почти «одесский» диалог, ироническая торжественность, детальная обрисовка героев и обстановки.

Но нужно заметить, что все же глава не так «отточена», как лучшие бабелевские новеллы. Да это и понятно. Бабель не привык к таким темпам написания, какие ему предложил Е. Д. Зозуля, тогда один из руководителей журнала «Огонек». В ответ на жалобу писателя, находившегося в то время в Париже, что «ему хоте-

лось бы заразиться литературной горячкой», Ефим Зозуля предлагает ему написать главу для коллективного романа и солидный гонорар, показавшийся для нуждающегося писателя «астрономической цифрой». Глава была написана, судя по всему, в десяти-двадцатидневный срок, так как вовремя появилась в девятом номере «Огонька».

После И. Э. Бабеля роман повели Ф. Березовский, А. Зорич, А. Новиков-Прибой, А. Яковлев, К. Федин, Н. Ляшко, А. Толстой, М. Слонимский, М. Зощенко, В. Инбер, Н. Огнев, В. Каверин, А. Аросев. Все тщетные попытки авторского коллектива довести роман к окончанию не имели бы успеха, если бы инициаторы сего произведения не поставили своевременно все точки над i. В завершающих главах Е. Зозули «Последний герой романа» и М. Кольцова «Прибыли и убыли» находится истинный виновник поджогов — изобретатель огнетушителя Желатинов. После этого мгновенного розыска литературные «директоры» объявили «работу ликвидационной комиссии по роману «Большие пожары» законченной». Как воззвание к бдительности звучат последние заключительные строки публицистической главы М. Кольцова: «Продолжение событий — читайте в газетах, ищите в жизни! Не отрывайтесь от нее! Не спите! «Большие пожары» — позади, великие пожары — впереди!»

И. ТИХОНОВ

ографий своих сверстников. Он умело пользуется детскими воспоминаниями и по сей день.

Геннадий Павлович Михасенко родился 16 февраля 1936 года в городе Славгороде Алтайского края. Детство прошло в Новосибирске. Там, прямо у самого берега Оби, стоял деревянный домик впритык к другим таким же «сооружениям», где рос будущий писатель. Отец его, железнодорожник, часто ездил в дальние командировки, а Гена вместе со своим младшим братом Женей и с неизменной ватагой ребят из соседних дворов каждое лето проводил возле реки. Местечко то было похоже скорей на пригородную деревню, чем на уголок миллионного города. Уже и студентом любил Геннадий Михасенко приходить на речку в окружении все тех же ребятишек. Вероятно, именно тогда стала проявляться его тяга к тем, кто впоследствии станет героем произведений писателя.

Наверно, мы имеем дело с редким случаем, когда студент совсем не гуманитарного вуза на последнем курсе твердо знал, что он будет писателем. Ведь в то время существовали уже «Кандаурские мальчишки». Тем не менее Геннадий Михасенко, воспользовавшись распределением, поехал работать в Братск, где разворачивалась гигантская стройка. Он знал: багаж его жизненных наблюдений пополнится именно в таком городе. И не ошибся.

Поселившись в Братске, Геннадий Михасенко работал по своей основной специальности, постепенно вживался и присматривался к новому для него быту и тихонько писал повести «Неугомонные бездельники» и «В союзе с Аристотелем», осуществляя прежние замыслы. Обе книжки опять-таки населены детьми школьного возраста и к ним же обращены. Они были изданы в Новосибирске и Москве, а перед тем опять прошли через «горнило» журнала «Сибирские огни», с которым установились добрые творческие отношения.

Геннадий Михасенко и на сей раз не изменил своей манере, использовав только то, что он хорошо знал. Недаром на титуле «В союзе с Аристотелем» есть авторское посвящение брату Жене и такие слова: «Это он, ничего не подозревая, дал мне обильный материал для книги».

«В союзе с Аристотелем» — повесть о том, как детвора неожиданно сталкивается с человеческим злом— сектантством. Им многое непонятно, многое загадочно в поведении людей, которые не пускают их сверстницу Катю в школу, не позволяют ей ходить в гости к друзьям. Легко и просто можно оставить девочку без внимания. Но это значит бросить человека в беде. Не таковы герои Михасенко. С помощью взрослых они размышляют, как спасти Катю, и находят выход. Побеждает добро.

Психологически все обоснованно. Писатель точно

знает, как важно для детей прийти к такому логическому заключению. Не зря же большинство народных сказок кончается торжеством добра над злом.

Одновременно у Михасенко нет готовых ответов, опережающих рассказ. Писатель как бы ищет вместе со своими героями, делая соучастниками поисков читателя. И мы тоже испытываем кровную заинтересованность в судьбах героев повествования. Вот основная победа книги.

Повесть — безусловное свидетельство растущего мастерства автора, хотя еще ощутимы и промахи. Среди них следует упомянуть, может быть, излишнюю дидактичность, нравоучительность. Но и от этого недостатка Геннадий Михасенко избавляется.

Жизнь в Братске многое дала Михасенко-прозаику. Здесь он стал профессиональным литератором, был принят в члены Союза писателей. Здесь у него возникла возможность заняться самообразованием, пополнить запас знаний по литературе и искусству.

К другим увлечениям прибавилось стремление научиться иностранным языкам. И теперь, уезжая на мотоцикле в тайгу возле Братского моря, Михасенко берет с собой, предположим, «Испано-русский словарь» и заучивает, заучивает фразы, слова. И на письменном столе его рядом со стопкой машинописного текста будущей книги лежит расписание: в понедельник — английский, во вторник — немецкий, в среду — испанский, в четверг — французский, в пятницу — итальянский, в субботу — китайский. Боюсь, что я что-нибудь напутал в днях, но ручаюсь: именно эти языки знает, то есть умеет говорить и переводить, Геннадий Михасенко.

В Братске часто бывают иностранцы. И отделение «Интуриста» охотно пользуется услугами писателя, выступающего в качестве переводчика. Ему это тоже полезно: практика!

У Михасенко все, что он делает, подчинено одному — писательскому труду. Даже его основная специальность — инженер. А уж знание иностранных языков тем более пригодится в работе. Речь идет не только о том, что теперь он может в подлиннике читать, скажем, Гете.

Вот новая повесть, написанная на братском материале. Она напечатана пока только в журнале «Сибирские огни» (№ 11, 1968). Эта вещь во многом опять-таки автобиографична. В образах мастера Леонида Зорина и его тринадцатилетнего брата Антона можно узнать черты самого автора и его младшего братишку Женю, уже знакомого нам. Конечно, речь идет не о полном копировании, а об использовании отдельных ситуаций и черт характеров.

В первоначальном варианте повесть именовалась так: «Гость Падунского Геракла». В журнале она назы-



ЭКИПАЖ БУМАЖНОГО КОРАБЛИКА

(Рассказ о встречах с экипажем Тура Хейердала)

Осенью по приглашению Академии наук СССР в нашей стране гостил экипаж папирусной лодки «Ра» — участники второй трансокеанской экспедиции знаменитого норвежского ученого Тура Хейердала, капитана легендарного плота «Кон-Тики». О встречах с экипажем «Ра» рассказывает ученый секретарь Сибирского энергетического института Александр Кошелев.

О почти двухмесячном плавании через Атлантический океан интернационального экипажа папирусной лодки «Ра», стартовавшей 25 мая в марокканском порту Сафи, в свое время достаточно подробно сообщало радио, писали газеты и журналы, так что нет необходимости повторять известное. Я хочу просто рассказать о своих впечатлениях от встреч в Москве с участниками экспедиции, поделиться тем, на мой взгляд, наиболее интересным, что я слышал и увидел.

Сначала о членах экипажа. Вместе с голубым звездным флагом Организации Объединенных Наций папирусный корабль нес флаги семи стран.

Тур Хейердал — руководитель экспедиции, всемир-

но известный ученый (доктор наук, академик) и писатель. Хейердал говорит, что научные экспедиции он организует на гонорары от прошлых и авансы от будущих художественных книг. Великолепный, остроумный рассказчик, сохранивший в свои 55 лет юношескую стройность и живость, сочетающиеся с благородством осанки. В прошлом — активный участник движения Сопротивления, в 1944 году в составе норвежских отрядов, сформированных в нашей стране, освобождал свою родину от оккупантов. О гипотезах Хейердала относительно связей древних цивилизаций, об экспедициях для проверки смелых предположений, описанных в великолепных книгах ученого, которые изданы чуть ли не во всех странах мира, — говорить излишне. Будучи очень больным (он простудился), капитан «Кон-Тики» и «Ра», еле поднявшись с постели, блестяще выступал в течение двух часов в зале Центрального лектория Политехнического музея, затем, в тот же вечер, произнес энергичную речь в Центральном Доме литераторов. Как заметил кто-то из писателей, Тур проявляет героизм во всем.

Карло Маури — 39-летний итальянец с типичной славянской внешностью (по происхождению чех), один из самых известных альпинистов мира, побывавший на вершинах всех материков Земли, в том числе и Антарктиды, фотограф по профессии. Во время плавания (это была его 23-я экспедиция), занимаясь

вается спокойнее и прозаичнее — «Пятая четверть». Посмотрим, как назовет автор книгу...

Ситуация в ней довольно проста: во время каникул в гости к брату Леониду приезжает Антон. А Леонид живет в легендарном Братске.

«Неугомонные бездельники» и тут находят себе фантастические приключения. Познакомившись с Гошкой, мальчишкой почти такого же возраста, Антон принимает участие в сооружении... вертолета.

Машина работает не по дням, а по часам. Конечно же, расчеты ребятишек были очень примитивны, и «вертолет», в лучшем случае поднявшись в воздух, привел бы к какой-нибудь катастрофе. Но про тайну сорванцов узнает Леонид. Он-то и останавливает Антона и Гошку, но делает это тактично, некоторое время поддерживая игру.

Попутно решает писатель проблемы нравственности, морали, дружбы. И решает их на сей раз без назиданий, мягко.

Пригодилось в новой повести и знание иностранных языков. Жена Леонида Тамара говорит по-испански. Она вовлекла в занятия и мужа. Теперь они разговаривают (причем испанская речь вплетена в ткань повести), а Антон им завидует. Ему тоже хочется овладеть испанским.

Новая повесть — лучшее доказательство тому, что Геннадий Михасенко не случайно пришел в литературу. Человеку увлеченному, с сильным характером, талантливому, всегда есть что сказать людям.

Е. РАППОПОРТ.

СОЛДАТ РОССИИ

(Об Иннокентии Черемных и его книге «Разведчики»)

Отгремели залпы великой войны, и солдат вернулся к мирной жизни. Токарь на Иркутском автосборочном заводе, колхозник, Иннокентий Захарович Черемных в 1955 году прибыл на строительство Братской ГЭС. Он был двести сороковым коммунистом, направленным обкомом партии в места горячие, ставшие легендарными в нашей послевоенной истории.

Добавим к этому важную деталь — в 1966 году Иннокентий Черемных за добросовестный труд на строительстве ГЭС удостоен ордена «Знак Почета».

Вот и все. В такие скупые, короткие данные укладывается жизнь бывшего фронтовика в послевоенные годы.

своей основной работой и отсняв 20 км цветной кинопленки и 3000 диапозитивов, Маури проявил себя как изобретательный кок, к тому же ведал такелажем корабля, всеми бесчисленными веревками, — начала и концы которых мог найти только он, — «Карловы джунгли».

Джордж Сориал — 29-летний египтянин, получивший диплом инженера-химика в Страсбурге, занимающийся, однако, не наукой о веществах и молекулах, а подводной киносъемкой и охотой, неутомимый и бесстрашный весельчак — рассказывали, как Джордж дрессировал во время киносъемок в Красном море 3—4-метровых барракуд, учил их брать мясо из рта. Чемпион Африки и шестикратный чемпион ОАР по дзюдо. Деятельно участвовал в строительстве, текущем и капитальном ремонте папирусного корабля, «сшитого» с помощью изготовленных Сориалом трехметровых игл-ломов.

Абдулла Джибрин (точнее, как сам он произносит, — Гибрин) — 33-летний негр-мусульманин из племени будума с озера Чад, «папирусный эксперт», который сначала был приглашен для строительства лодки, затем включен в ее экипаж. До экспедиции не знал, что такое железная дорога. Эрмитаж Абдулле не понравился, точнее, «не впечатлил» его, зато от балета он был в восторге. В машине на улице Горького, сверкавшей неоново-аргоновым вечерним великолепием, вдруг издал пронзительный крик. «В чем де-

В этом смысле биография Черемных мало чем отличается от биографии его поколения.

Но приглядимся попристальнее к этому худощавому необычайно подвижному человеку, и мы удивимся тому, что жизненный опыт его необычайно велик для его 47 лет.

Худенькому, напоминающему подростка, колхозному трактористу не было и девятнадцати, когда началась война, и вместе со взрослым мужским населением он покинул Приангарье, чтобы получить первое боевое крещение в боях за Калугу. Всю войну Иннокентий Черемных прошел разведчиком. Понятие «передовая» для него имеет свой особенный смысл и глубокое значение. Разведчик сражается на фронте впереди действующей армии. Его жизнь полна опасности и риска. А Черемных — истинный сибиряк. Мужества и смекалки ему не занимать.

Война оставила на теле солдата множество отметин, но гораздо ощутимее ее след, оставленный в душе. Память о войне не заглушили ни послевоенные жаркие будни в колхозах Боханского района, ни труд молотобойца на строительстве Братской ГЭС. Может быть, вспоминались товарищи-фронтовики, когда он наблюдал людей на стройке из кабины экскаватора или общался с ними как начальник жилищно-коммунальной конторы города Братска?

Беспокойная память изменила жизнь Иннокентия Черемных. Около десяти лет подряд тратил он отпуск и личные сбережения на поездки к месту жительства друзей-однополчан. Сколько жарких встреч было пережито! А сколько бессонных ночей окрашено было вопросом: «А помнишь?» Было, что и не узнавали поначалу боевые друзья, и горько ворочался в постели от неловкости. Но зато как дороги были слова: «А ведь я вспомнил тебя, Кеша!»

Так родилась документальная повесть Иннокентия Черемных «Разведчики». Ее документализм — особенный. Он сродни самой главной особенности современной прозы с ее пафосом доверия, уважения к жизненному факту. И не придется ветерану войны опускать глаз перед боевыми друзьями. И. Черемных выполнил их наказ: «Напиши о нас, Кеша, истинную правду, какой она была».

Стремление соблюсти в повести верность факту, действительности определило особенность ее композиции. Это достаточно скупой и неторопливый рассказ о первых шагах разведроты, совпавших с трудным периодом войны — 1941 годом, об овладении опытом и о тех днях, когда инициатива в войне полностью стала достоянием нашей армии, одержавшей под Сталинградом величайшую победу.

В деятельности разведывательной роты как в капле воды отразились характерные этапы войны, ее трудности, ее победная поступь. И когда автор в финале вос-

ло?!» — «Мне хорошо!» Утомленный дорогой и лавиной новых впечатлений, вовсю зевал на сцене, не так, как это делают опытные завсегдатаи президиумов, а откровенно и честно, показывая две дуги ослепительных зубов.

Американец Норман Бейкер — единственный «кадровый» моряк, выполнявший на судне ответственные функции навигатора и радиста. К сожалению, он не был на тех встречах, где был я, так что ничего больше о нем не скажу.

Не смог прилететь в Москву профессор-антрополог университета из Мехико Сантьяго Дженовез (или Хеновес), который был занят у себя на родине съемками документального фильма о движении за мир.

Седьмой участник экспедиции — наш соотечественник врач Юрий Сенкевич, в задачи которого входило медицинское обслуживание экипажа и проведение соответствующих наблюдений. Юрий, как и все остальные, со своими обязанностями успешно справлялся: в два дня поднял на ноги отправившихся в плавание больными Сориала (простудился во время строительства лодки при многочасовых подводных купаниях и лежал в каюте с температурой 39,5 градуса) и Дженовеза (у того был приступ какой-то кожной болезни). Во время плавания как лечащий врач Юрий почти не работал, если не считать, что он вылечил утку: ей сломало ногу упавшей во время одного из штормов мачтой. Кстати, эта утка, благополучно завершившая

клицает: «Хорошо побеждать! Нет большего счастья для солдата, чем ощущать себя победителем. Мы не узнавали себя. У нас даже осанка стала иной, шаг стал тверже, увереннее», — мы верим ему. Обнаженная публицистичность финала не дань модной теме, не прием автора. Это идущие от самого сердца слова. Они сказаны рядовым великой армии народа, прошедшей в войне страдный путь.

Автор не задавался целью раскрыть в повести историю войны. Его задача была куда более скромная — рассказать о друзьях-разведчиках, с которыми пройдены нелегкие пути горьких утрат, временных поражений и радость побед. Но война, ее важнейшие этапы, не могли не выступить в повести на первый план. Иначе и не могло быть, ибо Иннокентий Черемных провел войну на передовой линии, побывал в самых жарких местах схватки.

Но при этом нельзя не отметить, что фигура рассказчика в повести нигде не заслонила собою других героев. Более того, ей отведено в повествовании самое скромное место. Гораздо чаще мы встречаемся с замечаниями «мы, братчане».

«Первым командиром, которого я узнал в армии, был лейтенант Федор Королев». Эти строки о себе в начале повести сразу уводят нас к главному в ней. «Мы стояли перед ним, одетые кто во что горазд. Одни были в длинных шубах, другие в полушубках, в дохах из собачьего, медвежьего меха, из шкур дикой козы...

...Ростом неодинаковы, но все одного 1922 года рождения, бывшие колхозники из сел и деревень Братского района». И так всюду. Авторское «я» возникает в «Разведчиках» лишь как связующее звено в повествовании, иногда как красноречивая достоверная деталь фронтового быта.

Трудны первые шаги разведчиков. Не было специальной выучки, владения приемами самбо, в разведотряд братчане попали по собственному желанию.

«— Кто желает быть разведчиком? — спросил командир. — Служба веселая, почетная, всегда впереди. Разведчик должен быть смелым, решительным, сильным и вертким. Такому бойцу всегда почет. У кого же гайка слабовата, тому лучше в другую часть идти. Подумайте!»

Иннокентий Черемных не особенно раздумывал, когда вместо положенных двух шагов вышел из строя на целых три вперед и встал вплотную с командиром.

«— Ты кто, охотник или рыбак?

— Рыбачил, — отвечаю, — на удочки за полдня по сто штук пескарей надергивал. За утками охотился. Убивал...»

Теплым юмором согреты в повести воспоминания о своей нелегкой юности, о мальчишестве, столкнувшемся с суровой, беспощадной действительностью войны.

Мы встретимся с рассказчиком и в другой ситуации, когда он пожалуется врачу на недомогание и получит суровую отповедь: « — Наверно, до армии по ведру картошки съедал, распустил брюхо? Тут паек, лишнего не съешь... молока крынку не выпьешь. Вот тебе рыбий жир. Пей, и пройдет...» Потом повествователь уйдет «в тень», чтобы дать место естественному ходу событий, и в следующий раз встанет перед нами во весь рост уже немало повидавшим солдатом. Его физический облик и душевное состояние воспроизведены крупным планом как свидетельское показание. Отряд измучен потерями, а более всего неудачами. Какозо выслушивать упреки командиров!

« — Это что за разведчик? На кого он похож? — продолжал капитан. — Гимнастерка и брюки рваные. Заштопать не может, обленился, что ли? Надо почаще его в разведку посылать, быстрее лень пройдет...

Я чувствовал, как кровь бросилась мне в лицо.

— Он каждую ночь в поисках,—ответил Королев...— Что гимнастерка и брюки? У него колени и локти все в болячках и ссадинах». Эта сцена выписана автором так, что и здесь свет падает не столько на него самого, сколько на командиров — начальника разведки капитана Баранова, тут же мужественно поправившего свою ошибку, и командира роты, любимца ее Королева, знающего цену каждому своему солдату.

Чувство скромности и такта нигде не изменило автору. И если он самолично будет появляться на страницах повести, то лишь затем, чтобы бросить где-то важное замечание, выразить мнение своих боевых товарищей, промелькнуть в иронически окрашенной сценке, вносящей разрядку в полные драматизма и риска будни разведчика.

«— По ходу действий разные встречались обстоятельства,—скажет автор о себе и своих товарищах, неожиданно попавших под обстрел своих «катюш». — Такой уж удел разведчика — всегда и всюду на мушке...»

А что представляет собою коллективный образ, давший название повести — «Разведчики»? По прошествии многих лет послевоенных трудовых будней воспоминания о войне высекли теплые, от сердца идущие слова любви и благодарности боевым друзьям, неподдельное восхищение их смелостью, находчивостью, мужеством, верностью солдатскому долгу.

Особенно, пожалуй, запоминается образ лейтенанта Непомнящих. Появлению в роте этого нового командира предшествовали трудные дни начала войны: не было опыта, не хватало кадровых командиров, обученных делу. И хотя с появлением Непомнящих жизнь стала труднее, так как каждую свободную минуту он заполнял обучением, «но зато в разведку шли подготовленными, стали чувствовать себя увереннее, и пусть не сразу, но нам стал сопутствовать успех».

трансатлантический рейс вместе с петухами, курами и своими сестрами, входила в поголовье птичника, который обеспечивал команду свежим мясом в начале пути. Когда утка осталась последней из всего пернатого стада, на нее не поднялась рука... Кроме утки, прекрасный пол на корабле представляла обезьянка, которая развлекала мужественную команду, лазила по вантам и реям, вместе со всеми прибыла на сушу и приняла норвежское подданство в семье капитана «Ра».

Характеризуя поставленные перед экспедицией задачи, Хейердал сказал следующее — именно в такой последовательности в обоих выступлениях: мы стремились, во-первых, доказать возможность сотрудничества и длительной совместной работы, в том числе и в чрезвычайных условиях, представителей различных рас, политических и религиозных убеждений, разных по склонностям, профессиям и характерам; во-вторых, проверить мореходные качества лодки, изготовленной из папируса, возможности ее длительного плавания в соленой воде в условиях открытого океана.

Первая задача была выполнена блестяще: познакомившись незадолго перед отплытием, члены интернационального экипажа, по словам Хейердала, «работали, как друзья, и закончили плавание, как братья». На встрече с корреспондентами Агентства Печати Новости Хейердал сказал: «Я хотел показать, что в на-

шем многонациональном мире можно сотрудничать. Именно международный состав нашего экипажа был фактором, который нам помог лучше работать, чем если бы я отправился в путешествие со своими соотечественниками (в Политехническом музее капитана «Ра» спросили, почему он в этот раз не взял с собой никого из экипажа «Кон-Тики», например, Бенгта Даниельсона — «Бенгт швед, то есть почти что норвежец, а один норвежец на борту уже был»). Каждый член экипажа хотел представить свою страну в нашей команде с лучшей стороны. Я также считаю, что именно в тех случаях, когда людям приходится находиться вместе, заключенными в небольшое пространство, лучше, чтобы они не знали друг друга до путешествия. Достаточно руководителю группы знать своих людей». В книге Хейердала «Путешествие на «Кон-Тики» есть как бы развитие этой мысли: «Все мои спутники не знали раньше друг друга, и все были совершенно различными людьми. Поэтому в течение нескольких недель на плоту мы будем гарантированы от того, что наскучим друг другу своими рассказами. Грозовые тучи, низкое давление и ненастная погода будут представлять для нас меньшую опасность, чем угроза столкновения характеров шести человек, которым придется месяцами находиться вместе на дрейфующем плоту. В этом случае хорошая шутка часто бывает столь

Человек неброской внешности («невысокий, неширокий в плечах, сутуловатый, с плоской грудью»), Непомнящих встает со страниц повести истинным рыцарем своего дела, одним из миллионной армии героев, решивших исход войны.

Читатель видит его в повести в действии. И хотя разработанные им операции не всегда приносили успех, они всегда обнаруживали истинную цену усилий Непомнящих. И читатель подготовлен к восприятию его исповеди перед бойцами:

«Наша рота опутана, как паутиной, позором и огрязнена предательством Коваленко. Нужно все смыть сегодня,— говоря эти слова, лейтенант побледнел. — Иду в захватывающей группе. Желают со мной парторг Калугин, сержант Ельчининов. Заявляю вам, товарищи бойцы, я лично не вернусь в роту, если мы сегодня не захватим немца. Ибо в разведке появляться мне стыдно. В пехоте останусь. Хватит впустую прогуливаться. Пехота истекает кровью, а мы «языка» взять не можем...»

Сурово и просто, не нарушая спокойной повествовательной манеры повести, описана смерть Непомнящих. Но и сейчас, четверть века спустя, горячи, пламенны слова автора, повествующего о смерти любимого командира. И при этом никакой патетики! Героическая смерть Непомнящих, его похороны потрясающе точно воспроизводят ощущения солдата молодого, полного любви к жизни и готовности выполнить солдатский долг, отомстить фашистам за все:

«День с утра был пасмурный, к обеду ветер разрывал морок в облачные клочья. Солнце, взглянув в прогалину, блеснуло лучами в поземлевшее лицо лейтенанта Непомнящих. Но он не почувствовал этого, не зажмурился от лучей, как мы, у него глаза не сверкали от слез, а были безжизненно полуоткрыты. Смерть накрыла его жизнь, и солнце светило ему в последний раз. Мы опустили тело Непомнящих в могилу. Сердца наши от жалости к бывшему командиру и другу по оружию кипели, и слезы струйками обрывались с подбородков, падали на холмик».

«Разведчики» — первая книга Иннокентия Черемных. Это, как говорится, проба пера. Не все автору удается. Иногда ему кажется, что лучший способ познакомить читателя с героем — это описать его внешность и «выложить» основные данные о нем. Поэтому-то в повести и наличествует некое однообразие:

«У Прокопия Каймонова было открытое лицо. Как бы припухлая верхняя губа делала его мальчишески юным. Светловолосый паренек был общительным, располагая к себе каждого. Перед отправкой на фронт его назначили нашим командиром отделения».

«Иннокентий Московских был небольшой ростом и средней плотности, молчалив. На его смуглом лице

редко было можно видеть улыбку. Его не сменяй часами с поста или отправляй еженощно в разведку, он ничего бы не сказал. Словно лошадка, на которой можно пахать без конца, пока она не упадет».

О Дампилове сказано: «Этот низкорослый солдат был старше нас, подвижный. Его черные волосы и брови, как смола, порыжели от солнца, лицо еще сильнее почернело от загара...»

Есть и другие подобные варианты. Иногда автор объединяет их в групповой портрет. «Два новых командира стояли перед нами, а было нас тринадцать человек. Старше всех смуглый читинец Ивлев, рядом с ним краснолицый и конопатый, кадровый солдат, Иосиф Гладких, весельчак Борис Леготин, братчане Леня Крамынин, Гриша Доброхотов, звонкоголосый Иннокентий Бурнин, говорливый шустряк Михаил Заваленко, Иннокентий Московских, я, иркутянин Сергей Скольжиков и трое новичков».

Повторяясь, подобный прием уже не только не помогает «узнаванию» персонажа, но иногда утомляет и мешает. Так, на страницах 8—9 рассказано о смерти Михаила Московских, братчанина, первым павшего в бою. А через несколько страниц заходит речь об Иннокентии Московских, и читатель некоторое время остается в недоумении и листает предшествующие страницы, чтобы разобраться. Отличье героев, наличие двух Московских не было приметным и достаточно отмеченным автором. В смущение приводит и история Ельчининова, который на разных, а иногда и на одной странице, именуется то Ельчининовым, то Ельчаниновым.

Но когда И. Черемных заговаривает о делах своих героев, вносит в повествование живые сценки фронтового быта, в которых действуют, рассуждают или красноречиво молчат его персонажи — это «срабатывает» безотказно, и читатель вживается в судьбу героя.

Вот, к примеру, история Гриши Доброхотова. Разве забудет читатель этого немногословного, сильного, такого основательного сибиряка, который под ураганным обстрелом врага отправляется на поиски убитой лошади, чтобы накормить товарищей? Поведение Доброхотова в разведке уточняет, высвечивает эту удачно найденную деталь, а образ обретает черты той художественной выразительности, без которой, как без «скрепы», не было бы и документальной повести.

Не получилось такой удачи в обрисовке Лени Крамынина. Потрясает исполненная скорби и драматизма сцена его похорон, и лишь она заставляет перелистать предшествующие страницы повести, в которых разбросаны не всегда запоминающиеся детали его характеристики.

Страницы повести в этом смысле неравноценны. Рядом с живыми, запоминающимися Леготиным, Короле-

же полезна, как спасательный пояс».

Разумеется, обмениваться информацией путешественникам было не так уж легко: во сне экипаж разговаривал на семи языках, а наяву шестеро могли в какой-то мере объясняться по-английски, пятеро — по-французски, трое владели итальянским, двое арабским. Правда, до ближайшего переводчика, в случае языковых затруднений, было всегда не больше двух метров. Заместитель председателя правления общества «СССР — Норвегия» Е. А. Долматовский образно сказал, что экипаж, закончив плавание, совершает сейчас путешествие подобно фронтовикам, которые после победы отправились в гости, объезжая поочередно семьи друг друга: отважный экипаж прибыл в Москву из Каира, туда — из Америки, а из Москвы путь лежал в Норвегию.

Вторую задачу тоже следует считать безусловно выполненной: хотя лодка и не достигла берегов Америки (уточняя высказывания прессы, Хейердал подчеркнул, что в данном случае и не ставилась задача достичь земли, как это было при плавании «Кон-Тики»), все же она продержалась в океане 54 дня вместо того, чтобы утонуть через две недели, как предрекали «знатоки».

Рассказ Хейердала в Политехническом музее о плавании «Ра» шел как комментарий к демонстрации цветных диапозитивов их автором Карло Маури. Сначала была показана серия

снимков, выполненных с экспонатов Каирского музея, — настенная живопись, фрески, барельефы, рисунки с изображением строительства папирусных лодок древними египтянами, оснастки судов и плавания на них. Причем изображения, выполненные с детализацией и филигранной тщательностью, настолько хорошо сохранились, что можно было даже различить, каким образом тысячи лет назад вязали узлы, используя большой палец ноги (с обувью тогда было туговато). Так вот с помощью подобных «рабочих чертежей», а также собственных домыслов и догадок и была построена лодка «Ра». Строили ее у подножия пирамиды Хеопса — на цветных слайдах это выглядело весьма экзотично. До шоссейной дороги лодку тащили пятьсот (!) студентов, опять же используя опыт древних. Правда, дальше «Ра» транспортировалась по асфальту на трейлере: все-таки двадцатый век!

Экспедиция была снабжена запасом разнообразного «многонационального» продовольствия. Кроме всего прочего, вместе с золотистыми египетскими лепешками на борту были надежные русские черные сухари и донское вино новых марок: «Кон-Тики» и «Аку-Аку». Будучи в Москве, экипаж «Ра» вылетал на один день в Новочеркасск, в гости к донским виноделам, приславшим им этот подарок.

О плавании «несерьезной лодки» рассказывали, кроме капитана, Сориал и Юрий Сенкевич. «Папирусная кор-

вым, Коваленко, этим предателем, повинным во многих бедах роты, есть в «Разведчиках» герои «проходные», фигуры бледные, невыразительные. Трудно удержать в памяти Дампилова, Скольжикова, Дорофеева, хотя и видно, что судьбы этих людей неповторимы. Автор словно поспешил и сказал о них скороговоркой. Есть в повести и просто непонятные истории. За что, при каких обстоятельствах были, например, сурово наказаны такие отличные люди, как командир роты Королев и комиссар Колесников? Дальнейшие сведения о них как случайные «клочки» воспоминаний мало что объясняют и создают ощущение не нужной в данном случае для повести и читателя недосказанности.

Рядом с этим нередко великолепно выписанные батальные сцены (если можно назвать таковыми схватки разведчиков обеих сторон в борьбе за «языка»), выразительные, полные юмора и скрытого драматизма эпизоды солдатской дружбы, оборванной войной, нерушимой солдатской верности. Нередко привлекают внимание отлично выписанные и прекрасно «вписывающиеся» в повесть картины природы.

Разведчики отправляются в свой опасный поиск. Кто-то из них, наверное, не вернется с задания. Но об этом никто не думает. Говорят о разном. А «в глубине темного неба горящими угольками» светятся звезды.

«Землю, словно сверкающим гребнем, прочесывали трассирующие пули. Земля была мерзлая, усыпанная чугунными, железными, свинцовыми осколками, остроту которых мы ощущали своими исшарканными до болячек телами. Ночь стояла тихая, безветренная, но стонала вместе с землей от взрывов, заглушая наше движение». Земля стонет, она исстрадалась вместе с людьми, она протестует, она помогает,— этот образ-символ нередко возникает в повести как аккомпанемент величайшей в истории битвы — Сталинградской. Ее исход дан также глазами разведчика, но дан выразительно, масштабно.

Сибиряки прославили себя в Великой Отечественной войне беззаветным мужеством. Сибирякам есть что рассказать о ней. Очень разные по содержанию и степени мастерства «Позади фронта» Дм. Сергеева и «Разведчики» Инн. Черемных наглядное тому доказательство. Альманах «Ангара» вносит публикацией этих произведений свой вклад в летопись великой войны.

Н. ТЕНДИТНИК.

зина» вела себя великолепно: она не могла наполниться водой, которая свободно проходила вверх-вниз через прутья-стебли, поэтому лодка теоретически была непотопляемой. Постепенно намокая, папирус в то же время разбухал, увеличивая свой объем, а тем самым и грузоподъемность — закон самовыравнивания! Однако, как известно, экипаж был вынужден оставить свое судно и пересесть на «серьезный» корабль, немного не доплыв до острова Барбадос. Кстати, как говорил Сенкевич, американская яхта «Шенандоу», которая приняла на борт путешественников, была вызвана по радио, чтобы просто заснять лодку со стороны, в разных положениях. Вместо обещанных двух-трех дней яхта шла... две недели и смогла запечатлеть одно «положение»: аварийное. На диапозитивах Маури был виден весь процесс постепенного затопления лодки. Разместив груз в основном вдоль подветренного борта, как это обычно делают на судах для уравновешивания опрокидывающего момента от ветрового напора, путешественники создали небольшой постоянный крен, который постепенно нарастал из-за преимущественного намокания опустившейся части палубы (папирус надводной части намокал от брызг, а его разбухание плавучести лодки не увеличивало). Медленно, но неотвратимо опускалась в воду корма: там проступила лужа, где сначала стирали белье, а потом стали купаться... На «военном совете» было решено попытаться поднять корму, распилив на бруски и подвязав к ней единственное спасательное средство, бывшее на лодке,— пенопластовый плот, который почему-то был рассчитан на шестерых. Однако первый же шторм оторвал и унес пенопластовые поплавки.

Из-за постоянной динамической нагрузки и трения стеблей папируса, сопровождавшегося тревожным скрипом, перетирались крепления, и стебли, как прутья старого веника, освобождались из связки и плыли рядом, постепенно отставая («Они не тонули, и это радовало Хейердала: его теория подтверждалась. Команде оставалось разделять «радость» своего капитана»). К моменту прихода яхты вся палуба была под волнами, вода стояла в каюте. На время сна члены экипажа размещались на ящиках с вещами: спина на сухом, а ноги свободно плавают...

Безусловно, основной причиной потопления «Ра» было отсутствие опыта строительства папирусных лодок (Хейердал говорит, что строить было труднее, чем плыть) и управления ими. Поэтому можно считать, что для опытных мореплавателей древности путешествие на подобных судах из Африки в Америку было вполне технически осуществимым.

Учтя опыт плота «Кон-Тики», где один из членов экипажа Хейердала, Герман Ватсингер, упал в воду с кормы и затем с большим трудом был спасен (имея парусность, плот двигался весьма быстро несмотря на все принятые меры), — участники экспедиции «Ра» имели на длинных веревках несколько спасательных поясов (опять же из стеблей папируса), которые плыли за лодкой, всегда готовые к услугам. В пути лодку приходилось много чинить, особенно рулевые весла. Работать часто мешали акулы («Чем ближе к Америке, тем больше акул» — эти слова Сориала были встречены смехом зала).

Прибыв в Америку, участники экспедиции направили обращение в ООН с требованием принять меры против загрязнения океана, которое ведется главным образом тысячами танкеров, производящих чистку своих емкостей, вдали от берега. Нефтяные продукты, как известно, представляют смертельную опасность для морской фауны.

В заключение скажу, что все встречи с экипажем «Ра» проходили в очень дружеской, живой, интернациональной обстановке — так было, как говорили, во всех странах. Поэтому экспедиция Хейердала, безусловно, выполнила и третью важную задачу: сближение между разными государствами и народами, населяющими нашу планету.

А. КОШЕЛЕВ



Надя КЕХЛИБАРЕВА

ИЗ КНИГИ „ВКУСНАЯ БОРОДА"

Эта книга выходит в Москве в издательстве «Детская литература» в вольном переводе с болгарского Марка Сергеева.

ОТЧЕГО ИДЕТ ДОЖДЬ

Снежинка
на облаке белом гостила,
увидела:
девочка плачет внизу,—
и так загрустила,
и так загрустила,
что вскоре сама
превратилась в слезу.
Теперь понимаешь ты,
что это значит:
коль влажною тучей
укрыт небосвод,
то, стало быть,
кто-нибудь,
где-нибудь плачет.
И тают снежинки.
И дождик идет.

ХОЛОДНО

Нынче белые метели
поразмяться захотели,
и сугробы забелели —
тыща белых медвежат.
И звенят от стужи ели,
люди валенки надели,
в небе звезды посинели
и от холода дрожат.

Растоплю я печь пожарче,
разведу огонь поярче.
Хоть мороз сегодня крут,
но поленья пламя точит,
но в котле чаек клокочет:
может, звезды среди ночи
к нам погреться забредут!

СОН

Далеко-далеко-далеко,
так грустно и так одиноко
стояло в степи деревцо.
Не слышало птичьего пенья
и звонкого речек кипенья,
ни клена, ни липы ни дуба
оно не видало в лицо.
Вдруг ветер, как синяя птица,
откуда-то радостно мчится,
кричит: «Наступила весна!
И я вам несу приглашенья,
и я вам несу украшенья,
а чтобы вы платье пошили,—
иголки прислала сосна!»
И деревце стало нарядным,
зеленым и очень приятным—
никто бы его не узнал!
И вот, как зеленая птица,
уже оно по небу мчится,
туда, где на шумных полянах
весенний справляется бал.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИХОДИТ ВЕЧЕР

Для чего приходит вечер?
Чтоб в лесу
спали птички на деревьях
на весу,
чтобы песня их подумала:
пора! —
потянулась и уснула до утра.
Для чего приходит вечер?
Чтобы тот,
кто устал и от работ, и от забот,
чисто вымылся и лампу погасил,
и уснул,
чтобы набраться новых сил.
Для чего приходит вечер?
Чтобы ты
не капризничал, пугаясь темноты,
потянулся, позевал разок-другой,
и уснул.
Спокойной ночи, дорогой.

Е. Коблуковская

НОВОГОДНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

До школьного новогоднего бала оставалось три часа десять минут. А у нас начались неприятности.

У Димки Дудкина заболел зуб. Как раз в тот момент, когда Маринка примеряла ему бороду.

— Ой,— вскрикнул Димка.— Осторожно. Ты меня иголкой уколола.

— Что ты, никакой у меня иголки нет,— удивилась Маринка.

Но тут Димка застонал и заойкал на всю комнату.

— Зуб, зуб затокал!

— Коренной? — спросил я Димку.

— Угу...

— Ничего, пройдет, — подбодрил я его. — У меня, знаешь, как в прошлом году болел? Ух! Помнишь, мы еще в поход собрались?

— Угу... — мотнул Димка головой.— Ерунда!..

— Что ерунда? Еще как болел!

— Ерунда, что в прошлом году. У меня в этом болит.

— Ничего, Димка, пройдет. Потерпи,—суетилась Зойка.— Я тебе полосканье сделаю. Хочешь? Мне мама всегда полосканье с содой делает.

— Бр... не хочу с содой, — застонал Димка.

— Ну, немножечко пополощи... и все пройдет.

— Да...вай попробую, — согласился Димка.

На секунду он замолчал, но потом снова заойкал.

Генка Чижов мрачно ходил по комнате.

— Что будем делать?

— Надо позвонить ребятам, — предложила Зойка.

— Давай Мишке Костину.

Мишка долго не мог ничего понять.

— Зуб? У кого? — кричал он в трубку. В трубке что-то трещало и шипело.

— У Димки Дудкина.

— А, у Дудкина. Ничего. Дома посидит. Без него попляшем, — захохотал Мишка.

— Хохочешь, да? Хохочешь! А Димка, между прочим, Дед Мороз. Забыл, да?

Хохот в трубке прекратился.

— Да... ничего себе. Может, пройдет, а? Сильно у него болит?

— Ага, волком воет.

— Вы там держитесь, а. Я сейчас у бабушки спрошу, что делать.

— А... ой... ой... — стонал на всю комнату Димка.

— Славка, слышишь? Бабушка говорит, пирамидон можно проглотить. Помогает.

Я его спросил:

— Мишка, а сколько надо глотать?

— Сколько? Ну, пусть штуки три проглотит.

Телефон стал звонить беспрестанно. Все наше звено было очень обеспокоено случившимся. Еще бы! За три часа десять минут до новогоднего бала остаться без Деда Мороза!

И так с этим Дедом Морозом была целая история. Когда распределяли костюмы, Деда Мороза никто не хотел брать. Кому интересно быть старым Дедом Морозом, когда можно стать космонавтом, луной, летчиком, электронной машиной, ракетой или, на худой конец, мушкетером.

Но какой же это новогодний бал, если на нем не будет Деда Мороза? Кто же будет раздавать подарки? Не космонавт же!

Когда Зойка предложила расписать все роли на маленькие бумажки и тянуть по жребию, роль Деда Мороза досталась Димке. А теперь бал срывался. Во-первых, Димка меньше всех ростом в нашем классе, его костюм всем будет мал. А стихи, а конферанс? Димка их целые две недели учил.

В квартире беспрерывно звонил телефон.

— Болит? — спрашивали в трубку.

— Ага, — отвечали из Димкиной квартиры.

— А грели?

— Грели... И содой полоскал, и йодом.

— Говорят, одеколон помогает. На ватку и в зуб.

— Пробовали. И Зойка пробовала.

— Что?! И у Зойки болит?

— Нет, она просто так пробовала.

В квартире пахло йодом, одеколоном и скипидаром. Зубная боль не утихала.

— Все срывается... — шептал Генка, расхаживая из угла в угол.

— А... ой-ой... — стонал Димка.

Зойка отвечала на звонки.

— Пирамидон глотал?

— Ага!

— А вы ему тепленькое прикладывали? Вы ему что-нибудь тепленькое на щеку.

— Все... из-за меня пропадет, — стонал Димка.

— Ничего, — успокаивал его Генка Чижов. — Что-нибудь придумаем.

Я сказал:

— Дедом Морозом буду я. Можно без костюма. В маске и с бородой.

— Знаешь, Славик, — сказал Генка. — Дедом Морозом буду я. Я в прошлом году Дедом Морозом был.

Я хотел с ним поспорить, но в дверь постучали. Это была Люська из нашего звена. У нее не было телефона, и она ничего не знала.

— Тра-ля-ля! — пропела Люська, входя в комнату. — Привет. Чем это у вас пахнет?

— Тише, — сказала Зойка. — У Димки зуб болит. Уже два часа, как болит.

— Ужас! — Люська сделала круглые глаза. — Ведь Димка...

— Ага, Дед Мороз...

— Что же делать? Ребята знают?

— Все знают.

— А врач что говорит?

— Какой врач? — не поняли мы.

— Зубной...

— А!

Зойка схватила Димку за руку и кинулась к вешалке.

— Молодец, Люська, — крикнула она. — Выручила!

Люська стояла и хлопала ресницами.

...Когда старшая пионервожатая Ирина Львовна объявила начало бала, заиграла музыка, распахнулись двери, и в зал вошло... пять Дедов Морозов. Столько, сколько мальчиков было в нашем звене. И не успели еще ничего подумать удивленные ребята, как появился шестой Дед

Мороз, а рядом с ним запыхавшаяся, раскрасневшаяся Зойка.

Оркестр перестал играть вальс, вожатая Ирина Львовна забыла конец предложения и, кажется, шарики на огромной елке перестали звенеть. Кому же приходилось видеть на одном балу сразу столько Дедов Морозов?

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

— Ну, Славик, — сказал папа. — Пойдешь на новогодний бал в тюз. Мне на работе пригласительный билет обещали. Ты рад?

Я, конечно, был рад, только совсем немножечко. В тюз — это хорошо, только я там уже был в прошлом году. Вот если бы достать билет на елку во Дворец пионеров! Там, говорят, Дед Мороз роботом будет, то есть, это робот будет Дедом Морозом. Ну, в общем здорово на такого Деда Мороза посмотреть...

Я подумал и решил позвонить Димке.

— Димка, привет! Ты что делаешь? А... ничего. Я тоже ничего. Я вот тебе звоню. У меня деловое предложение. Давай меняться? Что? Билет в тюз на Дворец пионеров.

Димка сразу обрадовался, потому что он во Дворце пионеров уже был, а в тюзе не был. А потом он сказал, что тюз вообще-то можно выменять у Зойки Бабкиной на завод. У нее отец на заводе работает. «Там, знаешь, какая елища!»

— Ну, ладно, — сказал я Димке, — ты уже как хочешь. Только про мое деловое предложение ни гу-гу... Понял?

Я сел и стал ничего не делать, а просто думать про робота Деда Мороза, как его будут включать и выключать, и он станет отвечать на разные вопросы, а потом раздавать ребятам подарки. Только я до этого интересного места додумался, зазвонил телефон.

— Слава, салют! Это я, Коля. Слав, это ты завод на тюз меняешь?

«Ну вот, началось!» — подумал я.

— Ничего я такого не меняю...

— Слав, а мне про это Зябликов сказал, а ему сказал Вовка из второго звена, что Зойка меняет завод на тюз, а ты свой пригласительный билет в тюз меняешь на Зойкин завод..., а Зойка... Нет, то есть...

Я как завозмущаюсь: «Димка-то каков? Все рассказал. Вот я ему сейчас...»

Не успел я придумать, что бы такое сказать Димке, как снова раздался звонок.

— Славик, Славик, — затараторила Зойка в телефонную трубку. — Это у тебя лишний билетик в тюз? Вот здорово! Так я его беру. Представляешь, я там в прошлом году так танцевала снежинку...

Телефон звонил весь день. Менялось все наше звено и даже Вовка из второго.

— Славочка, миленький. А у меня целых два билета во Дворец пионеров. Поменяемся, а? Мне так в тюз хочется!...

«Ладно, — решил я. — Отдам пригласительный в тюз этому Вовке из второго звена. Возьму целых два билета во Дворец пионеров и сразу на два новых года отхожу...»

Только я с Вовкой договорился, позвонила Нина Брошкина, а потом Люся. Она тоже хотела в тюз снегурочкой, потому что в прошлом году была лисичкой, а в этом они с Зойкой будут снегурочки.

У меня просто голова разболелась. Я совсем забыл про математику и русский, все на звонки отвечал...

Потом пришел с работы папа.

— Все, — сказал он, — беру назад обещание. Прозевал. Билет в тюз отдали Трубочкину. Ты, Слава, не огорчайся...

— Ой, что теперь будет!

И тут снова раздался звонок.

— Слава, это ты меняешь бал на льду на Дворец пионеров?

Я бросил трубку. Будет мне завтра в классе «бал на льду»!

А может быть, они там как-нибудь разберутся?

Г. ГРАУБИН.

ПРИБОЙ

Разлохмаченный, рябой,
Ходит берегом прибой.
Влажной мордой, как теленок,
В берег тычется спросонок,
Пасть беззубую оскаля,
По моржиному ревет,
Мокрой лапой бьет о скалы,
Гальку, чавкая, жует.

По песку бежит прибой,
Тащит пену за собой.
Ребятню увидев, к пляжу
Подгоняет белый вал.
То ли выткал эту пряжу,
То ли где ее украл.
Рты раскрыли ребятишки,
А прибой на брюхо лег,
К ним подкрался, как воришка,
Майки в море уволок!
Брызнул солью мне на брюки,

У кого-то зонт стянул.
Плот волной накрыл от скуки
И вверх дном перевернул.

Нечем бедному заняться,
Целый день баклуши бьет.
А захочется размяться —
Невода и сети рвет.
Пасть беззубую оскаля,
Ходит-бродит сам не свой

И колотится о скалы,
Как об стенку, головой.
Тоже мне, нашел веселье:
Сам себя о скалы бьет!

Впрочем, ясно, что безделье
До добра не доведет.

АЛЬМАНАХ «АНГАРА» № 6.

Составитель А. М. Шастин
Редактор Л. А. Васильева
Худ. редактор А. И. Аносов
Техн. редактор А. Л. Дроздовская
Корректор Т. Н. Ковинина.

Сдано в набор 17 ноября 1969 г. Подписано к печати 4 февраля 1970 г.
Печ. л. 9,07. Уч.-изд. л. 9,77. Бумага 70×90$^1/_{16}$. Тираж 5000. Заказ 6532.
НЕ 02049. Цена 40 коп.
Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, Горького, 36.
Типография «Восточно-Сибирской правды»,
г. Иркутск, ул. Советская, 109.



40 коп.